

[Polaris]

Р. ШТРАТЦ

ЧЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ



POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXLVI



Salamandra P.V.V.

**Рудольф
ШТРАТЦ**

ЧЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ

Избранное

Salamandra P.V.V.

Штратц Р.

Черные крылья: Избранное. Пер. Р. Маркович. Сост. и прим А. Степанова. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. — 94 с. (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXLVI).

В книгу вошли избранные «страшные» и детективные новеллы немецкого писателя Рудольфа Штратца (1864-1936).

© А. Stepanov, состав, примечания, 2016

© Salamandra P.V.V., подг. текста, оформление, 2016

ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

— Нет, знаете, — второе зрение — это такой своеобразный дар... — сказал остзейский барон. — Меня несколько не удивляет, что у вас здесь, в западной Европе, в него не верят...

— Потому что все у нас слишком трезво и прозаично? — спросил один из собеседников.

Беседа шла в приятельском кружке, собравшемся в отеле в Риме.

— О, нет! Загадки всюду окружают нас, только другого рода. А дар второго зрения таится вообще больше в особенностях местности, чем людей. Нужна, знаете, своеобразная природа: туманы над болотом и топью, странная игра света и тени, какая бывает в приморской атмосфере, серый ползучий воздух, серое небо, серые камни, серое море... Вот, в Шотландии такая природа — и в Эстляндии тоже, на моей родине. Там именно и случилась эта история с моим кузеном.

Барон свернул новую папиросу, зажег ее и сказал, как бы отвечая на невысказанный вопрос собеседников:

— Нет, не сам он обладал способностью второго зрения — он был совершенно нормальный человек. Кузен мой Петер Нейендорп был сирота с порядочным состоянием. Тогда он только что вернулся из образовательного путешествия по Европе, которое предпринял по окончании университетского курса в Дерпте, и занялся решением вопроса, как устроить свою дальнейшую жизнь. На русскую государственную службу он не хотел поступать, праздная кочевая жизнь за границей его тоже не привлекала, — и вот он решил поселиться в доставшемся

ему от родителей именин Эннефере и заняться хозяйством.

Имение было расположено в далеком и пустынном крае, — вокруг только лес и степь, — но огромное и незадолженное; сам он был представительный молодой человек лет 27-28, хорошего, старинного рыцарского рода. Познакомившись и приглядевшись к окрестным помещичьим домам, он мог выбрать себе со временем любую барышню, не рискуя встретить отказ. А жениться он, конечно, твердо решил: разве мыслимо было бы прожить одиноко в этой глуши?

Ближайшим соседом его по имению был старик Фрилинггаузен, богатырского роста, с длинной седой бородой и пышными белыми кудрями, — старый солдат, закаленный в боях во славу русского оружия.

Каждый день можно было видеть на морском берегу его худощавую фигуру, когда он в шинели и меховой шапке бродил, опершись на тяжелую палку, среди сурового, мрачного ландшафта.

В этих местах существовало твердое убеждение, что барон Вольдемар Фрилинггаузен одарен способностью предугадывать близкую смерть людей, даже когда они совершенно здоровы и бодры. Ничего особенного как будто и не было в его глазах, — разве только, что сидели они необычайно глубоко и оттого имели испытующее и пронизывающее выражение. Но что эти глаза видели гораздо больше, чем все другие — в этом никто в окрестности не сомневался. У всех на памяти было много поразитель-

тельных случаев пророческого дара барона.

Рассказывают, например, как он раз в поезде между Петербургом и Ревелем всматривался в лицо кондуктора, потом, выйдя в Нарве, тайком передал начальнику станции сторублевый билет для семьи кондуктора, — и тот, действительно, через две станции свалился с площадки вагона и его перерезало поездом.

Главное, он никогда не говорил заранее о том, что предвидит чью-нибудь смерть, ни этому лицу, ни другим. Тут он был нем, как могила. И только потом, по тем мерам помощи, которые он принимал задолго до несчастного случая, обнаруживалось, что он знал и ожидал этого. А так как он был человек добрый и сострадательный, то ему бывало трудно вполне владеть собой и тут он иногда выдавал себя — тем, что невольно становился необычайно мягок и деликатен с теми, в ком провидел обреченных.

Вот почему всех пугала его внезапная любезность, и ее всячески избегали, предпочитая видеть с его стороны сухость и даже грубость. Это делало старого Фрилинггаузена еще более одиноким.

Но, разумеется, барону Петеру Нейендорпу это не мешало поддерживать добрые отношения с соседом. Он часто приезжал к старику в Кальк за советом в разных затруднительных случаях.

Но не одни деловые надобности влекли Нейендорпа в дом старика, с которым, при всем его добродушии, было все же как-то не по себе.

Вольдемар Фрилинггаузен женился очень немолодым, лет уж 45. Жена у него была болезненная и редко выходила из спальни. Тем неразлучнее он был с своей единственной дочерью Кайей, хорошенькой белокурой девушкой. Ей было всего лет 18 и была она худенькая и высокая, как мальчишка. Молодому Нейендорпу она понравилась, и они вскоре начали все дольше и глубже заглядывать друг другу в глаза.

Нейендорп еще не говорил с Кайей, но был уверен, что, когда спросит ее, не услышит от нее отказа, — и хотел прежде сделать формальное предложение ее отцу.

Партия была, действительно, вполне подходящая; а к самому молодому претенденту старик отнесся с самого же начала очень дружелюбно.

Таким образом, Нейендорпу не надо было особенной храбрости, чтобы в один прекрасный день попросить у старика руки его дочери. Было это летом, в сенокос.

Энергичное лицо Фрилинггаузена — не то, чтобы омрачилось, а как-то странно смягчилось и с каждым мгновением становилось все участливее, растеряннее и грустнее. Потом он долго-долго, тихо и скорбно качал головой, потупив глаза и беспомощно скрестив пальцы рук. Когда он, наконец, поднял голову, в них стояли слезы.

Старик встал:

— Дорогой мой... я так и боялся, что это может случиться...

— Боялись? Почему же?

— Потому что я не могу дать своего согласия...

Молодой человек тоже встал.

— Могу я узнать, по крайней мере, причину вашего отказа, барон? — сухо спросил он.

Но, к изумлению его, старик взял его за руку, крепко пожал и сказал:

— Никого я так счастлив не был бы называть своим сыном, как вас... Но это невозможно!..

— Почему же?

— Не все можно объяснить!

Нейендорп спокойно и сухо спросил:

— Это ваше последнее слово?

— Оно должно быть последним, дорогой мой!

— Тогда... прощайте!

И он направился к двери. Фрилинггаузен, глубоко взволнованный, сказал ему вслед:

— Я сделаю все, что в моей власти... быть может, через полгода я буду иметь возможность иначе ответить вам...

Но Нейендорп почти не слушал. Как в чад, он сошел с лестницы, сел в экипаж. И вдруг одна мысль, как молния, прорезала его сознание, — мысль, от которой у него кровь застыла в жилах, лицо помертвело и руки судорожно сжались.

Он скоро умрет, он обречен!.. Старик провидел своим вторым зрением, что он должен скоро умереть... Оттого так любовно и грустно звучал его отказ. Да, конечно, — есть предел самой горячей симпатии... Кандидату в раннюю могилу дочери не отдают...

Старик прав, его не в чем упрекнуть.

Когда Нейендорп приехал домой и прошел по своим одиноким комнатам, догадка выросла у него в душе в твердую уверенность, что ему скоро придется проститься со всем, со всем, что составляло его недолгую жизнь — в сущности, еще не успевшую и начаться. Разве в силах он будет расстаться навек с Кайей, с которой он привык связывать все мысли о будущем, всю полноту и радость жизни?..

В безмерном отчаянии, подавленный созданием неотвратимого рока, тяготевшего над ним, Нейендорп сам не заметил, как поддался власти болезненного любопытства. Как это произойдет? — напряженно думал он. — В каком образе подкрадется к нему смерть?.. Когда и где настигнет его?..

Мало-помалу он привык на все в жизни смотреть под этим углом зрения, всегда и всюду чувствовать невидимое присутствие подстерегающего его врага. Смотрел ли он на рабочих, подпиливающих огромное дерево, — он при виде опускающегося на канатах ствола думал: «Нет, не дам тебе свалиться мне на голову!» и с злобным смехом отходил в сторону.

Попадалась ли ему среди дорожки парка черная гадюка, которые во множестве водились на его болотах, он думал: «Ага, тебе хочется укусить меня в пятку!..» и в бешенстве убивал палкой животное, просто лениво гревшееся на солнце. Лошади ли плохо повинуются кучеру, он с той же неотвязной мыслью: «Нет, вам не удастся свернуть мне шею!» вскакивал, натягивал вожжи и останавливал лошадей. Купаясь,

он уплывал далеко в море и, глядя на заходящее солнце, в мятежном порыве подымал к нему руку и восклицал: «Ты хочешь меня утопить! Но это тебе не удастся, я плаваю, как тюлень!» — и, выйдя невредимо на берег, начинал напряженно, лихорадочно ждать новой опасности.

Он чувствовал себя, как солдат в сражении, ежесекундно ожидая пули и не зная, когда и с какой стороны она его настигнет. В конце концов, эта вечная готовность погибнуть пробудила в нем мятежное чувство протеста: мужчина же он, наконец! Есть же у него рассудок, мужество, сильные мускулы! Почему он обязан тупо покориться року, однажды навсегда признав его неотвратимым? Он может бороться, защищаться! Такие люди, как он, без борьбы не сдаются и дешево не уступают свою жизнь!

Тогда ему вспомнились последние слова старика Фрилинггаузена: «Быть может, я ошибаюсь! Быть может, через полгода я буду иметь возможность дать вам иной ответ». И спокойно обдумывая эти слова, он начинал находить в них утешение и надежду.

Сказал же он ему вслед: «Я сделаю все, что в моей власти», — а у такого человека, одаренного таинственной силой, это не пустые слова. Быть может, в ней есть и что-то благодетельное, — и в этот самый миг его знание, о котором он сам никогда не говорил, охраняет его от беды.

Если бы только можно было знать, когда и как наступит критический миг...

С течением времени от этой неизвестности в душе Нейендорпа зародился своего рода воин-

ственный азарт, — нетерпеливая жажда сразиться, наконец, с судьбой. Он начал выходить из дома с заряженным револьвером в кармане и с плетью из воловьего хвоста с налитым в нее свинцом, и напряженно оглядывался, не шелохнется ли где что-нибудь, — словно краснокожий на военной тропинке; но никто не злоумышлял против него, и день проходил за днем в томительном однообразии.

Но вот однажды напряженность разрешилась. Управляющий его, малый вообще отнюдь не робкого десятка, явился предостеречь барона. Крестьянин Маддизон, которого выселили с хутора, исчез и где-то скрывается, а перед тем говорил многим крестьянам, что барону и другому немцу недолго жить. Несомненно, у него и оружие должно быть, управляющий был в этом уверен, так как давно уже подозревал его в браконьерстве. Ввиду этого следовало бы принять крайние меры предосторожности, пока не удастся схватить Маддизона; а крестьяне уже выслеживают его.

К изумлению управляющего, барон громко и весело засмеялся. Словно страшная тяжесть свалилась с его плеч, так легко у него стало на душе. Наконец-то опасность перестала быть бесформенным чудовищем, призраком, а облеклась плотью и кровью, объявилась в образе тихого эстонца, подстерегающего его где-нибудь в чаще березняка! О, с этим-то он справится, — и даже с целым десятком таких!

Но, разумеется, следить он стал с тех пор за каждым своим шагом. Остерегаться приходилось, впрочем, только со стороны лесной

чащи, так как само имение очень тщательно охранялось, а в степи и в лугах невозможно было, конечно, подкрасться к барону незамеченным; тем более, что он пешком совсем не ходил, а ездил в экипаже или верхом.

Так прошло еще около недели.

Однажды Нейендорп возвращался с фермы.

Нигде не видно было ни кустарника, ни холма, за которым можно было бы укрыться. Со стороны какого-нибудь Маддизона было бы безумием дерзнуть на нападение здесь, в открытом поле, — тем более, что невдалеке виднелась группа занятых копанием торфа русских рабочих, красные рубахи которых ярко мелькали далеко вокруг.

Усталый от долгих тревог и убаюканный непривычно-беззаботным настроением, Нейендорп тихо мечтал, полузакрыв глаза. Вечерело уже; солнце скрылось за верхушки соснового бора; по лугу ползли огромные, странные тени от экипажа; на небе горели розовые облачка; тихо-тихо было вокруг.

Барон ехал и думал: «Полгода — говорил Фрилинггаузен... Если я переживу эти полгода, — все будет отлично».

Он столько раз уже думал это и рисовал себе картины будущего, что мысли его снова спокойно обратились к действительности, и он начал оглядывать дорогу из своего открытого экипажа.

Вдруг он увидел шагах в ста впереди своего экипажа другой экипаж. Это его удивило: очень редко кто-нибудь проезжал по этой обычно безлюдной дороге. По-видимому, тоже поме-

щичий выезд, но совершенно незнакомый ему; должно быть, откуда-нибудь издалека. Кучер сидел, устало согнувшись на козлах, совершенно так же, как и его кучер, а в экипаже сидел, так же как и он, в уголке, немец-помещик, как и он, — и смотрел, не шевелясь, на заходящее солнце.

«Кто бы это мог быть?» — думал Петер Нейендорп. «В спину невозможно узнать. А едет он, вероятно, ко мне. Заночевать, видно, у меня собирается», — подумал он затем и успокоился: наверное, это один из бесчисленных кузенов, которых немало в этих краях у каждого помещика.

Успеется, узнает дома; интересует его это очень мало, голова другим занята...

И, лениво соображая все это, он вдруг заметил, что незнакомец в экипаже сделал резкое и быстрое движение. Поднял голову, подозрительно обернулся направо и налево, быстро подался вперед, нагнулся — и с быстротою молнии, словно дикая утка, ныряющая в воду при приближении охотника, юркнул на дно экипажа.

И в тот же миг Петера Нейендорпа пронизала повелительная, настойчивая, властная мысль: «Сделай и ты тоже! Совершенно то же!.. Делай все, что делает тот!..»

Не успела еще даже оформиться эта мысль, а он уже, помимо своей воли, соскользнул с подушек экипажа вниз, свернулся, съежился...

И в тот же миг из-за придорожной ограды, из кучи наваленных камней шагах в десяти от него, грянул выстрел, пуля просвистела

сквозь белый полотняный капюшон барона, прострелила его и пролетела вдаль, — а сам он остался невредим и увидел крестьянина Маддизона, выскочившего из своей засады с еще дымящимся ружьем в руке и бросившегося бежать.

Но ему не удалось убежать далеко. С торфяника тотчас же бросились русские рабочие, несколько секунд мелькали в воздухе их красные рубахи; затем они окружили и схватили беглеца, крепко скрутили ему руки, приняли с поклонами от барона пятирублевку на чай, и экипаж снова покати к усадьбе.

Из усадьбы кое-кто видел это злодейское покушение, и когда он въехал, его встретила взволнованная и ликующая толпа: «Слава Богу, барон остался невредим!» — кричали все — и старая кормилица, и слуги, и служанки, и батраки — «слава Богу, слава Богу!».

Смеялся от радости и сам Нейендорп, едва успевая отвечать на поклоны и вырывая руку, которую толпа слуг порывалась поцеловать; потом он оглянулся на кучера, все еще бледного и не имевшего сил слезть с козел, и сказал:

— Ну, мы еще счастливо отделались! А куда же девался тот экипаж?

Во дворе его не оказалось, не видно его было нигде и на дороге, хотя люди оглядывали ее всю с полчаса, — а кучер спросил:

— Вы про какой же это экипаж, барин?

— Ну как «про какой?» Вот, что впереди нас ехал...

Его раздражало тупое недоумение, с которым этот бородач смотрел на него с козел. Но

ему не хотелось сердиться в такую минуту, и он терпеливо сказал:

— Экипаж, который ехал впереди нас, — ты ведь видел его? — с незнакомым господином, который вдруг качнулся и присел на корточки. Если бы я сразу не последовал его примеру, пуля ведь попала бы мне вот сюда!

Но кучер покачал головой и медленно проговорил своим низким басом:

— Никакого, барин, экипажа не было!

— Да что ты, спал, что ли?

И Нейендорп обратился по-русски к рабочим, копавшим торф:

— Сколько экипажей ехало по дороге?

— Один, барин. Ваш. Какой же еще? — ответил старший из рабочих.

Экономка тоже откликнулась — по-немецки:

— За последние два дня ни один чужой экипаж не заезжал в усадьбу, г. барон.

Нейендорп молча отвернулся и слышал, как кучер с очень серьезным лицом пробормотал:

— Экипаж... чужой господин... Да это мы и были...

Все вокруг притихли. Нейендорп чувствовал, что по всей его спине медленно поползла дрожь до самых ног. Жуткий испуг перед пережитым видением охватил его. Но через секунду он оправился и с облегчением вздохнул; у него промелькнула мысль: «Но ведь это был добрый гений! Это был ты, Вольдемар Фрилингаузен! Спасибо тебе за заботу и помощь!»

На другое утро управляющий доложил ему, что крестьянин Маддизон повесился ночью в

погребу, куда его временно заперли.

Нейендорп с чувством облегчения выслушал эту весть. Теперь последняя тяжесть свалилась с груди его! Не надо и выжидать истечения всех шести месяцев: грозившая опасность уже миновала, — он может считать себя свободным после того, как орудие роковой судьбы само собой сломилось! Сердцу больше не терпелось. Приказав тотчас же заложить лошадей, он помчался лесом по знакомой дороге, которой не видел уже целый месяц и которая на этот раз казалась ему бесконечной.

Сердце бурно стучало в груди, неудержимо рвалось: скорей, скорей. Ведь теперь, когда пророчество старика сбылось, он имел право забыть происшедшее, снова явиться к нему, поблагодарить его, еще раз попытать счастье... и на этот раз, конечно, с успехом, — в этом он был уверен заранее.

Скоро, скоро! Сейчас из-за поворота дороги покажется Кальк... Но не успел он еще доехать до поворота, как из-за него показался верхом на коне Вольдемар Фрилинггаузен, выпрямившись в седле во весь свой огромный рост, в накинутах на плечи плаще, с разметавшейся от ветра белоснежной бородой.

Старик вздрогнул от неожиданности, узнал его, остановил у его экипажа коня, протянул ему руку и долго не выпускал его руки, сжимая ее крепко, как тисками. Он был очень бледен и только головой кивнул, когда Нейендорп проговорил:

— Итак, сбылось то, что вы предугадали! Откуда только у вас эта непостижимая сила? —

с некоторой робостью прибавил он.

— О, лучше бы мне не иметь ее!

Это прозвучало стоном такого безнадежного горя, таким отчаянным криком измученной души, что Нейендорп смущенно приподнялся с сиденья.

— Что вы, барон!.. — тихо проговорил он.

— Если бы вы не предостерегли меня... Маддизон был от меня меньше чем в десяти шагах! — он непременно попал бы удачнее...

— Он стрелял в вас?

Старик Фрилинггаузен спросил это глухо и так странно-равнодушно, что Нейендорп опешил.

— Но как же... разве вы этого не знали?..

— В таком случае, о чем же вы говорите?

Старик безмолвно обернулся, как будто ждал чего-то сзади. И в ту же минуту лошади обогнули лесную опушку. Это была обыкновенная крестьянская телега, но вся завешенная простынями. Четверка лошадей шагом везла ее по рыхлому песку дюны.

На телеге стоял закрытый гроб.

За ним шла толпа дворовых из Калька, — крестьяне с женами, слуги и служанки, — немая, серая толпа эстонцев, беззвучно, как тени, скользящая в своих лаптях...

С трудом шевеля губами, Фрилинггаузен проговорил с насильственным спокойствием:

— Я везу мою дочь на кладбище. Дорога дальняя. Еще добрых четыре часа пути остается до дома священника.

Нейендорп зашатался и бессильно опустил-ся на подушки экипажа. Заглушенный крик

вырвался у него из груди. Он не сводил со старика отупелых, обезумевших глаз, не веря своим ушам,— а старик продолжал:

— Я сказал вам тогда: «Я сделаю все, что в моей власти». Я это делал... я берег ее, как зеницу ока... охранял каждый ее шаг... Все, все было напрасно...

— Но... как же... — Губы Нейендорпа не в силах были произнести вопрос, он едва владел своим сознанием. — Как... это... случилось?

— Разрыв сердца во время купанья. На самом мелком месте она купалась, — где обыкновенно плещутся крестьянские ребятишки.

— Когда?

— Вчера вечером. Перед заходом солнца.

Телега с своим печальным грузом проехала мимо них. Вольдемар Фрилинггаузен отпустил поводья и поплелся за гробом дочери.

Медленно двигалась бесшумная, серая процессия, под вой ветра, через болота и степь, к далекому кладбищу...

УЖАС

— Нет, я не шучу, это правда: был случай, когда я испытал истинный ужас, — сказал маленький седой генерал, своим серьезным видом протестуя против раздавшегося смеха.

В группе превосходительных старых солдат, отдыхавших на покое в Висбадене, шла застольная беседа, вращавшаяся вокруг воспоминаний 70-го года¹.

— Вы? бесстрашный храбрец? Что же заставило вас пережить ужас?

— Не знаю до сих пор!..

И, заметив заинтересованное и недоверчивое выражение на лицах собеседников, прибавил:

— Если хотите, я расскажу вам этот случай. Необычен он очень, но подлинен.

Было это зимой, под Орлеаном. Сейчас я не могу вспомнить даже, как назывался тот занесенный снегом медвежий угол, в котором расквартировали нас, драгун. Мы устроились в тех самых домишках и конюшнях, которые только что перед нами занимали баварцы. Пустовал только один маленький замок, стоявший особняком против церкви. В нем укрепился в вечер битвы, предшествовавшей взятию селения, отряд вольных стрелков.

Прямой атакой наши не хотели рисковать, предвидя бесполезное кровопролитие, и предпочли поджечь расположенные за замком строения, а потом напали сзади. Жестокий должен был быть бой... Не было пощады с обеих сторон... Сам владелец, отставной наполеонов-

¹ Т.е. франко-прусской войны (*Прим. изд.*).

ский полковник, и его сын приняли участие в битве — и оба пали.

Затем все стихло, только треск пламени нарушал холодное безмолвие зимней ночи, — и ббльшая часть замка сгорела дотла.

Уцелел только передний корпус, господский дом. Там можно было очень удобно устроиться, но баварцы избегали этого, хотя оставались тут потом еще две недели. Жуткие воспоминания будил этот дом: всюду кровь, на стенах приставшие куски черепной кожи с волосами... В большом зале вороха совершенно красной соломы, на которую они уложили владельца замка и его сына и добрую дюжину немых стрелков, — прежде чем кюре и крестьяне снесли их на кладбище...

Правда, те сами пошли на это, вздумав оказать нам вооруженное сопротивление... это так, а все же... Так или иначе, неприветливый дом пустовал.

Но один баварец все же побывал там.

Некоторые уверяли, будто в ночной тишине из дома доносились странные звуки... заглушенный многоголосый смех... шаги... хлопанье дверей... Видели будто бы мелькающий в окнах огонь. Вначале подумали, конечно, что там скрываются вольные стрелки; но, понятно, об этом и речи не могло быть среди кишевшего немцами селения.

Вот эта-то таинственность и заинтриговала одного молодого поручика баварской легкой кавалерии. Он решил во что бы то ни стало провести ночь в доме, населенном призраками, — и в сумерки забрался туда с матрацем и револь-

вером.

Но товарищи еще не успели улечься, как он вернулся — было часов 10 — и молча уселся около них. Ни слова от него не удалось добиться о том, почему он раздумал остаться на всю ночь. Над ним начали подсмеиваться; он все молчал и молчал, — и так и уехал со своим полком, не проронив ни слова.

Ко времени нашего прибытия, дом уже был окружен целым лесом легенд. Солдаты рассказывали друг другу невероятнейшие глупости. Это рассердило нашего адъютанта; ему захотелось уличить их во лжи.

На третий день нашего пребывания, он заявил нам утром самым равнодушным тоном:

— Ну, ребята... я всю эту ночь там провел!

Два-три свидетеля подтвердили это. Со всех сторон посыпались нетерпеливые вопросы:

— Ну, и что же?

— Спали видел во сне тучу ружейных дул, — только и всего.

Смеялся, говоря это. Бледен был, правда, но ничего; отлично чувствовал себя. Вечером он поехал по служебной надобности на бригадную квартиру, — три деревни проехать надо было. Ну, — и больше его никто никогда не видел...

Лошадь его нашли дня через три среди поля полумертвой от голода. Один Бог знает, куда девали его вольные стрелки.

На другой день сидели мы все в сборе вечером, говорили о пропавшем без вести товарище и вспоминали, что он как раз накануне своей смерти ночевал в том доме, зиявшем прямо против нас темными впадинами окон при

свете луны и отблеске снега. Мало-помалу все притихли. Каждый боялся вызвать насмешки, если бы сказал, что верит в духов, а все же при виде дома всем было как-то смутно не по себе.

А я в этот вечер выпил немного красного вина, горячего: нездоровилось мне как-то уже несколько дней, — знобило и голова была тяжела. Оно настроило меня очень предприимчиво.

— Эту историю надо исследовать основательно, — воскликнул я. — Сегодня же ночью переносу туда свою главную квартиру.

— Что ты болтаешь! Не пойдешь же ты, в самом деле! — воскликнул один из моих лучших друзей.

— Хочешь пари? Что ты ставишь?

— Своего арабского скакуна...

Он достался ему от павшего французского офицера. Красавец конь был! — ради него одного стоило провести восемь часов в замке с привидениями. Ударили по рукам.

Мне не сиделось. Хотелось чем-нибудь необыкновенным встряхнуться, вывести себя из непонятного угнетенного состояния, в котором я был всю последнюю неделю.

Часов в 10 я шел с денщиком по хрустальному снегу в безмолвный дом. Он нес постель и устроил ее у камина в большом зале, — единственной комнате, в которой уцелели окна. Печь он еще раньше затопил; теперь положил пару запасных поленьев; и едва я сказал: «ступай», — мигом очутился у двери и бросился — я слышал — бегом, что было сил.

«Бойтся, глупый, что его кто-нибудь оклик-

нет или схватит из мрака комнаты, в которой недавно столько людей расстались с жизнью», — подумал я, когда все стихло и я остался один.

Настроение у меня было приятно-возбужденное, почти веселое. Растянулся удобно на матрасе, изголовьем к стене (неприятно все-таки, если сзади вдруг кто-нибудь подкрадет-ся) и закурил сигару. Остался в мундире и сапогах, при шпаге и с револьвером в руке. Лежал и смотрел в пустоту комнаты.

Зал огромный, свечи и огонь в камине освещают только середину его, в углах темно; яркий лунный свет белой зимней ночи падает тоже на середину. У окон светло, почти как днем: отчетливо видны соломинки и странные темные пятна на паркете...

Я знал, что это за пятна, но мне было все равно. Странная усталость сковывала меня всего. Я чувствовал ее все эти дни, но теперь особенно сильно.

Ничего не хотелось, — только закрыть глаза и не шевелиться. И отлично, думал я: просплю так всю ночь, а утром получу коня.

Вскоре я, действительно, задремал. Это было тревожное забытие, то и дело прерываемое звуками извне: мерным боем башенных часов с сельской церкви, голосами сменявшихся часовых... В промежутках смутные сны — о доме, о желанном мире. Зимний поход — наслаждение небольшое... по крайней мере, такие моменты — вроде схваток с гарибальдийцами или с вольными стрелками, — как в этом зале, где друг другу вцеплялись в горло и пробивали череп — и где теперь так тихо... такая мертвая

тишина...

И такой холод, вдобавок! Я весь дрожал под толстым войлоком, который натянул на себя. В камине дрова почти догорели; надо подложить. Я поднялся на локте и другой рукой сунул в огонь два-три полена, потом снова растянулся.

Сон совсем пропал. Я лежал и смотрел открытыми глазами в залитую лунным светом глубь комнаты.

Вдруг я с изумлением заметил, что у окна кто-то стоит. Молодой офицер.

Стоит спиной ко мне и как будто задумчиво смотрит на улицу. И не шелохнется. Но виден явственно весь, с головы до ног.

Моей первой мыслью было, что это один из тех, кого здесь убили, — быть может, сын владельца замка... Но нет, — отчетливо виден немецкий мундир моего же полка.

Это меня сразу успокоило. Просто, вероятно, пока я спал, пришел товарищ — посмотреть, как я себя чувствую и тут ли я еще вообще. Да, конечно, проиграть пари и коня вдобавок — никому не охота. И я спокойно проговорил вполголоса из-под своего одеяла:

— Кто же это из вас?

От пустых стен обширного зала раздалось в тишине звонким эхо: «Кто же это из вас?» — а ответа не было. Я громче повторил вопрос, потом раздражительно и нетерпеливо в третий раз... Но снова услышал только свой собственный голос, такой странный в беззвучной тишине ночи...

Фигура у окна несколько не интересова-

лась мной; спокойно продолжала стоять, не обращившись, и смотрела по-прежнему на обугленные развалины и на снег за окном.

И вдруг меня осенило: «Да ведь это наш адъютант!.. Или что-то оставшееся от него, после того, как его самого они застрелили где-нибудь в лесу из засады...» От этой мысли сердце у меня застучало безумно, и я притаился, не шевелясь, чтобы не обратить на себя внимание фигуры у окна.

Однако немного спустя я подумал: если это адъютант, то ведь он — товарищ, добрый друг мой, — дурного он ведь ничего не сделает! Значит, пришел предостеречь от чего-нибудь или указать самих убийц, чтобы мы завтра разыскали их и разошлись с ними... Мысли, конечно, сумасшедшие, — но все так и кружилось у меня в голове, словно налитой свинцом,

Полковой адъютант был среднего роста brunet, а у того офицера белокурые волосы. Это меня поразило. Как же так? Значит, это не он? Но кто же, наконец, — в форме моего полка?

Вдруг я заметил кое-что... само по себе незначительное: клочок ваты. Он торчал под правым ухом таинственного товарища на узкой полоске щеки, которая мне была видна.

И в тот же миг меня охватил ужас, — беспределельный *ужас*, подобного которому я не испытывал во всю свою жизнь и страшнее которого не может испытать человек.

Когда это было? Два... нет, три дня тому назад: я брился утром одеревенелыми от холода руками и порядочно порезался... в щеку, вни-

зу... под правым ухом. Наш врач, бывший как раз у меня, наложил на ранку кусок перевязочной ваты. Еще и теперь торчит, рукой нащупать можно.

Но у того — у окна — тоже клочок ваты и как раз на том же месте...

А если так, то освещенный луной неведомый офицер у окна — я *сам*? Все говорит за это: фигура, рост... все, все! И я, по неразумию, подумал: «Если бы он обернулся, я убедился бы...»

Почти в то же мгновение, словно по моему приказанию, офицер обернулся — и я увидел... *себя*...

С быстротою молнии я юркнул под одеяло и, слыша неистовые удары своего сердца, дрожа всем телом, принялся утешать себя: «Ведь ты тут!.. Как может быть *тобою* тот, кого ты там видел!.. Ты просто взволнован и воображал все это».

Все было тихо. Во мне шевельнулась робкая надежда: высуну теперь голову из-под одеяла и открою глаза, — никого не окажется в комнате, и будет ясно, что и прежде никого не было, что все это был сон...

Но теперь-то я во всяком случае не спал, — наоборот, во мне не оставалось ни следа дремоты и я отчетливо слышал с улицы бой часов и пение раннего петуха вдали. И тем не менее... когда я снова выглянул, офицер по-прежнему стоял лицом к окну и равнодушно смотрел на снег.

Болезненное любопытство подстрекнуло меня: «Если бы он еще раз обернулся... еще

раз посмотреть на него»... И едва я подумал, — это совершилось. Я заметил, — что я ни подумаю тут у камина, то *он* делает там у окна. И тут, и там действовала моя воля... и это связывало нас обоих... и мы смотрели друг на друга... — и вот я явственно, отчетливо рассмотрел себя... и задрожал: «Только бы тот не вздумал засмеяться!»...

Но тот уже смеется, так что я вижу белые зубы из под усов... Холодный пот выступает у меня на лбу, и я против воли думаю: «Слава Богу, что вас отделяет друг от друга десять шагов!.. Не допускай его ближе! Не давай ему подойти к тебе...»

В тот же миг *тот* уже отделился от окна и направился быстрыми, крупными шагами к моему матрацу... Я вскочил и опрометью, сломя голову, как обезумевший от страха заяц, бросился вон из комнаты через освещенный лунной вестибюль к незапертой двери подъезда... А за мной что-то гналось торопливыми и эластичными шагами, слегка позвякивая шпорами, и я помчался еще быстрее, на обледенелых ступенях подъезда поскользнулся и слетел кубарем вниз, головой в снег.

Снег освежил мне голову. Мало-помалу я пришел в себя. Я лежал и видел в прозрачном, холодном воздухе звезды над своей головой, но больше ничего. Двойник исчез, а я был весь разбит. Медленно поднявшись, я с трудом пополз по снегу — только бы прочь от этого дома! — и то и дело испуганно оборачивался назад. Но за мной никого не было.

Неподалеку была конюшня, в которой стоя-

ли мои лошади и лошади других офицеров. Там горел фонарь. Я толкнул дверь, перешагнул через изумленного и заспанного денщика, забился в угол и, примостившись на мешках с овсом, с непрекращавшимся чувством ледяного холода в спине, хотя вблизи лошадей было тепло, сидел и ждал рассвета.

Теперь мне стало понятно, почему баварец-кавалерист ни за что не хотел сказать, что он видел ночью в замке, и почему наш адъютант, вернувшись оттуда утром, смеялся, чтобы скрыть свою бледность и свой ужас. А в тот же вечер его не стало...

И мне вспомнилась старинная примета: кто увидит себя самого, тот должен умереть...

Вокруг начинало светать. Издали доносились глухие звуки. Раз, два... и снова, и снова, с правильными промежутками. Пушечные выстрелы усиливаются мало-помалу. Сегодня, значит, сражение. Мы встретили неприятеля. А потом...

Я был убежден, что не переживу этого дня.

Пушки оглушительно бухали. По занесенным снегом деревенским улицам ехали трубачи и били тревогу. В спешных сборах никто не обратил внимания на мой вид. Только друг мой бросил мне на ходу:

— Ну, поздравляю... Конь твой!

— Оставьте его себе! — нервно крикнул я, махнув рукой и помчался, не обращая внимания на его изумление, вслед за батареей, которой мой эскадрон назначен был служить прикрытием.

Мы попали в этот день в порядочный огонь.

Прямо за моей спиной выбило из седла 3-4 драгун, в нескольких шагах разорвалась граната, и в груди тел людей и лошадей, на земле, я увидел убитым самого младшего товарища...

Я уцелел. Я то и дело спрашивал себя, когда же, наконец, я свалюсь. Но около полудня бой совсем прекратился, все стихло...

Я присел на придорожный камень, снова охватил голову руками и беспцельно устремил глаза в пространство. Проезжавший мимо врач окликнул меня:

— Что это у вас такой вид?

И я, не подумав, машинально ответил:

— Да ведь я должен умереть!

Тогда он соскочил с лошади, подошел, стал ощупывать меня и мягко спросил:

— Куда вы ранены? Не видно крови...

— Еще не ранен... — ответил я; вероятно, это прозвучало странно, — у меня так тяжело ворочался язык. По крайней мере, он испытующе посмотрел на меня, пощупал пульс и с озабоченным видом спросил:

— Гм... С каких пор вы чувствуете себя так плохо?

— Около недели... А сегодня ночью...

Я не договорил. Да он и не слушал больше, а принялся быстро расстегивать меня.

Вся грудь у меня оказалась в красных пятнах. Этого я и сам прежде не заметил.

— Так и есть! Как же это вы так, — целую неделю разгуливаете с таким явным тифом? Ради Бога, отчего вы не заявили, что больны?

— Я этого и сам не видел.

— И сегодня ночью не видели? Да ведь у

вас должен был быть страшнейший жар! Даже сейчас, в полдень, у вас по крайней мере 39 градусов... Возможно ли, что вы ничего не чувствовали? Не было ни бреда, ни помутнения сознания? Как хотите, это почти невыносимо!

Я промолчал. Доктор позвал лазаретных служителей. Они тотчас схватили и унесли меня.

Что было потом, начиная с этого вечера, я уже не помню.

А когда я снова на человека похож стал, прошло уже три месяца, и война была кончена.

Тиф был в тяжелой форме. Я был на краю могилы.

И все же... когда я вспоминаю все это, я думаю каждый раз, что лучше уж такой конец ужаса, чем тот ужас без конца...

СМЕРТЬ СИБИЛЛЫ БАРЕНТИН

Смерть моей кузины Сибиллы Барентин не имела сама по себе ничего особенного, но обстоятельства, обнаружившиеся потом, вызвали столько толков, что вокруг этого события начинают сплетаться самые фантастические легенды. Ввиду этого я хочу рассказать всю драму, как она разыгралась, с полной правдивостью.

Помню, как сейчас, тот холодный и бурный октябрьский вечер, когда мне пришлось поехать по делу к своему кузену Барентину в его имение Гленциг. Ехал я с очень слабой надеждой застать его дома. Непоседливый, неутомонно деятельный, он органически неспособен был прожить и одного часа без дела и увлечения. Агроном по образованию, он страстно любил сельское хозяйство, горячо увлекался политикой и был неутомимым охотником. Таким образом, он почти не жил дома, и если не уезжал на собрание сельскохозяйственного общества или в город к земскому, то целые дни бродил с ружьем.

Я был очень рад, когда, въехав во двор, увидел освещенные окна его кабинета и его самого, шагающего взад и вперед по комнате. Но едва я заговорил о деле, он перебил меня:

— Прости... не могу сосредоточиться, при всем желании... Я очень взволнован...

— Что же с тобой? Случилось что-нибудь?

— Сибилла отправилась на озеро добрых три часа тому назад, — и ее нет до сих пор.

— Она хотела на лодке покататься?

— Да. Она часто забирается в камыши, на рвать кувшинок.

— Но как же в такой ветер? Ужасное лег-

комыслие... Как ты это допустил?

— Не подумал как-то...

— Предпринял ты что-нибудь?

— Был там. Не видно ни ее, ни лодки. Сам я что же могу на чужом берегу? У меня нет ни лодок, ни людей. Но Кутге все поставил на ноги. Обыскали камыши, кричали, окликали... Озеро такое бурное сегодня, ветер ревет... Только что прибежал домой, надеялся, что Сибилла вернулась другой дорогой, — нет...

Кутге был наш общий добрый знакомый, владелец соседнего имения Трутов; ему же принадлежало и озеро.

— Да может быть, она совсем не на озеро отправилась, а к соседям куда-нибудь, или погулять?

— Нет, она прямо сказала горничной, что принесет свежих кувшинок, и приказала налить воды в вазы. И кучер ее отвез к самому берегу, — как всегда, до песчаных дюн: медленная езда ее утомляет, и оттуда она всегда доходит до камышей пешком.

— Взяла ли она с собою гребца?

— Нет, она никогда не берет, ей это портит удовольствие. Она любит отдаваться на волю волн.

— Тогда ее просто, значит, отнесло ветром к другому берегу! — поспешил я сказать самым спокойным тоном, но про себя невольно подумал: хорошо, что у них хоть детей нет...

— Пойдем опять туда, что ли... Сил нет оттаивать здесь в бездействии.

Ветер выл и ревел, как зверь, разрывая низко нависшие тучи. Моментами, сквозь прорван-

ную пелену, проглядывала луна, и тогда перед нами сверкал огромный простор Трутовского озера, казавшегося при этом тусклом свете безбрежным, как море, с высокими, бурлящими белой пеной гребнями волн. Жуткий вид...

Не доезжая до берега, Клаус Барентин вдруг остановил лошадь и окликнул кого-то:

— Лабиан, это вы? Что вы тут делаете ночью?

— Ничего, — просто брожу.

Это был управляющий ротмистра Кутте, угрюмый и чудаковатый старик, которого Кутте держал только потому, что он служил еще у его отца и деда, хотя ужасно не ладил с ним.

— Просто бродите... Вы могли бы, мне кажется, с большим участием отнестись к тому, что моя жена исчезла...

Старик сделал движение, как будто хотел что-то возразить, но промолчал и потом медленно проговорил, глядя на озеро:

— Ничего до сих пор не удалось, сколько ни искали и кричали. С радостью сообщил бы вам более добрые вести.

Это прозвучало таким искренним участием, что Клаус поспешил извиниться, — и мы уехали.

На берегу стояла толпа рыбаков и рабочих с фонарями, уныло глядя на кипящую черную пучину. Смешно было бы убаюкивать себя надеждой, что лодку прибило к другому берегу.

Кутте также был тут. Он стал нашим соседом недавно, всего года два. До тех пор он жил всегда в городе и поселился безвыездно в имении только после того, как развелся с женой и

вышел в отставку. Брак его сложился крайне несчастливо и, по-видимому, по вине одной жены, — а развод так глубоко потряс его, что, не особенно общительный от природы, он с тех пор совсем замкнулся в себе. Но к несчастью Клауса он отнесся с самым горячим участием, и мы все до глубокой ночи простояли на берегу, а Кутге остался и потом, когда мне пришлось уехать домой. Дома должны же были беспокоиться, что меня так поздно нет, а полезным я тут пока все равно не мог быть.

Но на другой день, чуть свет, я снова поехал в Гленциг. Поиски продолжались всю ночь и без всякого результата. Печальная немая весть пришла уже при мне: к берегу прибило лодку, на которой выехала Сибилла... Конец всем надеждам... К вечеру, когда мы привезли Клауса домой, явился еще парень с находкой: с измятым комком соломы, в котором горничная узнала шляпку, бывшую вчера на барыне, — и больше никаких вестей.

Тела найти не удалось: Трутовское озеро почти никогда не возвращало своих жертв. А вскоре наступила зима, озеро примерзло, над ним разостлалась снежная пелена... Конец!

В долгие, страшные зимние вечера, потянувшиеся для Клауса, я часто заезжал к нему. Сам я не решался нарушать его одиночество, но он посылал за мной. С его потребностью и привычкой к энергичной деятельности и живому общению с людьми, он не в силах был выносить одиночество. Кроме того, его мучила болезненная потребность говорить о покойной. Неотвязно, неустанно, день и ночь он думал о

ней, — так беспрерывно, как никогда при жизни ее, — и я видел, что, перебирая в памяти минуту за минутой всю их совместную жизнь, он иногда с ужасом и мукой раскаяния останавливался на мысли, что ее смерть была, быть может, не несчастной случайностью, а самоубийством.

По крайней мере, у меня мелькала такая мысль, хотя прямых оснований для этого совершенно не было. Но кто проникнет в интимные глубины семейных отношений? Слишком... непостижимо, неимоверно был разбит и растерян этот сильный, энергичный и жизнерадостный сангвиник...

Это был буквально живой труп, — и говорил он (хотя говорил о ней часами, без умолку), тяжело, как во сне, с трудом выжимая из себя слова и неподвижно глядя в пространство.

Раз я решил его спросить, были ли они счастливы в браке. Он помолчал, потом заговорил медленно, с расстановкой:

— Несчастливы мы не были. У нас никогда не бывало размолвок, сцен, слез. Но... это еще не значит, что мы были счастливы...

— Как же так? Не понимаю! Одно из двух...

— Бывает иногда, — счастье совсем близко, а его не видишь... Или поздно увидишь. Так было со мной. Около меня жило сердце, полное любви, полное доверия, надежд, снисходительной доброты ко всем моим недостаткам... Сдержана она только была... не умела легко отдаваться. Надо было добывать из нее лучшие чувства и порывы, — мягкой, нежной, как она

сама, рукой, — иначе она уходила в себя, притихала и задумывалась и на все отвечала одной загадочной улыбкой... Ах, я ведь знал все это!

Он вскочил и тоскливо заметался по комнате.

— Куда только я не бросался, чем не интересовался в жадной погоне за делом, людьми, впечатлениями! А она целые дни и вечера оставалась дома одна, одинокая... До нее одной мне не было дела, для нее одной не хватало времени! Единственного друга, — истинного, бескорыстного, — ее я не замечал! О, я любил ее! Дороже жизни она была мне... Но, Боже мой, чем я доказал это! Как она могла знать, как дорога она мне!

Он бессильно опустился на стул, уронил голову на руки и зарыдал так, что все его крупное и сильное тело дрожало.

— Из-за меня она погибла! И никогда ни слова жалобы... Всегда молчала, — сдержанная, гордая. Только тихо улыбалась про себя... О, как я понимаю теперь эту улыбку! Капризами я объяснял это тогда... Сколько она страдала, Боже мой!

Он поднял бледное, страдальческое лицо и долго, напряженно смотрела мне в глаза.

— Ты тоже это думаешь? Да, это возможно, страшно возможно!.. Не знаю, как не помешался я в ту ночь, когда это в первый раз произошло мне в голову. И это еще доведет меня до помешательства...

Правду знало одно озеро, но оно ревниво берегло ее.

Отчаяние и тоска Клауса росли с каждым

днем, так что у нас с Кутге действительно являлось опасение за его рассудок. Это был какой-то культ горя. Имение, дела — все было в полном забросе; кроме меня и Кутге, он не хотел видеть ни души, почти совсем не спал и не ел, целые дни бродил по берегу озера или стоял, неподвижно уставясь в таинственную темную глубь, а остальное время сидел, запершись у себя или в комнате Сибиллы.

Однажды я возвращался от Кутге, расстроенный тем, что мне не удалось поговорить, с ним, посоветоваться о здоровье Клауса (я застал его в страшном раздражении на старика-управляющего, который начал пить и действительно стал совершенно невозможен), как вдруг меня кто-то окликнул с озера.

Это был малознакомый берлинец, арендовавший охоту по соседству, — но трагедией Барентина интересовались и знакомые, и незнакомые. Я привык отвечать на расспросы этого рода коротко и односложно, — рассчитывал отделаться и от этого Вернике кратким заявлением, что нового до сих пор ничего не известно; но он ошеломил меня новым вопросом:

— Как же так, все-таки? Разве тот господин тоже утонул?

— Какой господин?

— Да тот, с которым г-жа Барентин была в лодке.

— Не понимаю... О ком вы говорите?

— Почему же я знаю, кто он был?

— Кто же вам наплел эту чепуху?

— Почему вы думаете, что «наплел»? И

какая же «чепуха»? Я сам видел, своими глазами, — из лодки, из-за камышей. 19-го октября это было. Я тогда как раз на уток выехал, с тех пор вот сегодня в первый раз...

— Что же вы, собственно, видели?

— Как «что»? Саму г-жу Барентин! Она прошла берегом прямо около меня. Я даже испугался, не спугнула бы она моих уток, и думаю...

— Дальше... дальше, пожалуйста!

— Ну, что же дальше? Потом смотрю, господин с ней, — за камышами, верно, ждал ее... Только далеко уж они были, лиц не видно было. Потом отвязали лодку, сели вместе и выехали на середину озера. Больше ничего не знаю!

— Послушайте, г. Вернике, вы твердо уверены, что не ошиблись?

— Что вы, барон! Я еще, помню, дома рассказывал жене и удивлялся, как господин этот решился повезти даму в такую бурю...

— Ни одна живая душа, кроме вас, не видела его!

— Как?! Разве он не явился?

— Никому ничего о нем не известно!

Вернике помолчал, видимо озадаченный.

— Что же это, Господи... Не утопил ли он ее?!

После первого испуга, я сообразил всю нелепость этого подозрения: лодку прибило к берегу вверх дном... Если Вернике вообще не напутал, — значит, озеро хранит тайну не одной, а двух жизней. Вопрос в том только, — несчастье это было, или оба искали смерти добро-

вольно? И кто он был? Кто мог быть этот таинственный, неведомый спутник?

Не из наших мест: мы не могли бы не знать, если бы кто-нибудь исчез. Какой-нибудь берлинский знакомый? Сибилла часто ездила в Берлин — за покупками, как все наши дамы, и просто погостить на денек у родных: она так ужасно скучала. Но Боже мой, это так не вяжется с образом одинокой, гордой и замкнутой, безупречной Сибиллы!

Я рассудил, что говорить об этом Клаусу было бы бесполезной жестокостью. Потрясти измученную душу новой страшной загадкой, когда я не знаю, даже в какой мере можно доверять словам какого-то Вернике! Но услужливый Вернике сам написал об этом Клаусу...

Мне и теперь жутко вспомнить, что случилось с Клаусом с этого момента. Это был сущий кошмар. Он словно вторично потерял жену — и еще бесповоротнее, непоправимее, трагичнее.

Он бросился в Берлин, говорил лично с Вернике, наводил справки о нем и узнал, что он очень почтенный и уважаемый в своем кругу человек.

Вернулся и заперся в комнате Сибиллы и целые дни и ночи, как сыщик, как безумный, рассматривал и исследовал каждую вещь в ее комнате, стараясь выпытать у них страшную тайну.

Однажды он послал за мной и с безумным смехом показал мне тетрадь ее дневника. Она два года вела дневник. Клаус был так доволен тогда, что она придумала себе это развлечение... Теперь в тетради было несколько белых

страниц, все исписанное было вырвано. Он открыл дверцу печки и показал мне горку сожженной бумаги...

— Утром, 19-го октября, в последний раз топилась эта печь... Она, значит, перед самым уходом вырвала листки дневника и сожгла их на горячих еще угольях... чтобы не дать заглянуть в ее душу после смерти... Она знала, знала, что умрет в тот день...

Голова у меня шла кругом, когда я вернулся домой. Но в этот день мне было суждено пережить еще одно потрясение...

Дома ждал меня старик Лабиан, явившийся с новостью, которую еще труднее было осмыслить, кажется, чем все выяснившееся до сих пор в этой темной трагедии. Тайнственный спутник последних минут жизни Сибиллы, мысль о котором грозила довести Клауса до настоящего безумия, в поисках которого мы с Кутге сбились с ног, — был, по уверению старика... Кутге! Кутге?! Есть ли в этом хоть тень правдоподобия? Старик болтает с пьяных глаз!

Но нет! Лабиан стал пьяницей, — это правда, и вот даже потерял службу. Кутге вынужден был, наконец, отказать ему, — но в эту минуту он не пьян! Это не может быть также корыстной или мстительной ложью: Кутге отпустил его, оказывается, с очень приличной пожизненной пенсией. И как искренне взволнован старик, с каким достоинством он объясняет, что может теперь сбросить с души камень, давивший его совесть! Он не мог говорить, пока жил в его доме, ел его хлеб, — ничего не мог сказать г. Барентину, когда он окликнул его

среди поля в тот злополучный вечер... Все, все правдоподобно! И не могут быть вымышлены все эти подавляющие подробности... Боже, что же это за кошмар!..

Старик видел Сибиллу с Кутге два раза: в первых числах октября, далеко в поле, а потом 18-го, накануне несчастья, в глухом месте у торфяников, куда никто не заходит; оба были страшно взволнованы, Кутге на чем-то настаивал, а она не соглашалась, качала головой, закрывала лицо руками... Потом, 19-го, Кутге весь вечер не было дома, он пришел поздно ночью и был весь мокрый, сапоги в глине... Откуда же, как не с озера? Дождя не было...

Я провел мучительную бессонную ночь и утром поехал к Кутге; я должен объясниться с ним, прежде чем взваливать на бедную голову Клауса новый ужас.

Мне трудно рассказывать подробно весь этот тяжелый для нас обоих разговор. Передо мной был истинный джентльмен и человек с отзывчивым сердцем, умевший войти в положение другого. Терпеливо, спокойно, не поддаваясь чувству обиды перед «допросом», он разъяснял, что перепутал и что прямо солгал жалкий спившийся старик. Все казалось так логично, честно, правдиво, — но что же было все-таки в его словах или в тоне, что в душе у меня притаилась, я чувствовал, глухая тревога?

Если это так, — Клауса надо оградить от этой безобразной сплетни. Но чтобы взять на свою совесть эту ответственность, скрыть это от Клауса, — мне надо же было самому непоколебимо верить, что все это вымысел. И вот,

чтобы рассеять последнюю тень сомнения, я решился попросить Кутте успокоить меня своим честным словом. И в *этом* мне Кутте отказал!.. Решительно и твердо...

— Если болтовня старого пьяницы имеет в ваших глазах такой вес, что вам мало моих опровержений... это такое оскорбительное недоверие, которому я не подчинюсь.

— Вполне ли вы взвесили неизбежные последствия вашего отказа, ротмистр?.. — сказал я. — Вы понимаете, что я в таком случае вынужден буду рассказать Барентину все, что я слышал...

— Это ваше дело!

— И это ваше последнее слово?

— Да.

Мы расстались, не протянув руки друг другу...

Я пропустил весь этот день. Я боялся сделать слишком поспешный шаг и еще чего-то ждал. Но на другое утро поехал к Клаусу.

Его я застал за новым исследованием: он бережно wygrеб всю кучку пепла из печи и теперь стоял над ней, сгорбившийся, с воспаленными глазами, со зловеще-спокойным каменным лицом. Среди хрупкой, светло-серой кучки сожженных листков из тетради (он вырывал из тетради оставшиеся чистые листки и сжигал их для сличения...) виднелась горсточка черного и плотного пепла: это несомненно английская почтовая бумага и, видно, большого формата, на котором пишут только мужчины...

И среди его нового открытия я вынужден

был обрушить на его голову страшный груз моих новых вестей!.. Я думал тогда, что ничего ужаснее этого момента мне не придется пережить, но действительность доказала, как это было наивно.

С тем же зловещим спокойствием он выслушал все, вышел в кабинет, вынул из ящика револьвер — и через несколько минут мы сидели в экипаже и ехали к Кутге. Подъезжая, я только сказал ему:

— Помни, Клаус, еще ничего не доказано! Не делай ничего в ослеплении... держи себя в руках!

Кутге не было... Уехал — вчера, тотчас же после разговора со мной, — на станцию, спешно, без багажа... Этого мы не ожидали. Это уж действительно наводило на тяжкие подозрения. Ведь это похоже на бегство! Клаус отшвырнул с дороги лакея и бросился в кабинет Кутге.

— Где почтовая бумага барина? Я напишу ему.

Через минуту Клаус перебирал руками стопку плотной английской бумаги большого формата... Вынул листок, положил на выступ камина и осторожно зажег его спичкой...

Диким кошмаром кажется мне до сих пор все, что произошло потом. Клаус сорвал со стены охотничий нож и принялся ломать ящики письменного стола... На все мои увещания и просьбы он глухо отвечал, что перед вопросом о жизни и смерти смешны все фразы о праве и порядочности, на старика-лакея он бросился с револьвером, когда тот заявил, что не

может этого допустить, и пригрозил убить его, как собаку, если он не отойдет от стола... И сделал бы это, мы это оба ясно видели...

В одном из ящиков стола оказалось большое письмо за подписью Фридриха Кутге и четыре записки к нему от Сибиллы. Первое он едва пробежал, роняя короткие, злобные замечания о «чувствительностях» и «сродстве душ» и впился не одними глазами, а всем существом, в ровные, четкие строчки записок. Первая была помечена апрелем прошлого года, — т. е. была написана ровно год тому назад и за полгода до катастрофы:

«Я не показала мужу вашего письма, так как хочу избежать тяжелых осложнений того, чему могу сама положить конец. Возвращаю вам ваше письмо; уничтожьте его сами и забудьте, что оно было написано. Я вынуждена просить вас отныне перестать бывать у нас. — С. фон Барентин».

Вторая записка была помечена 5-м октября: «Я не мешала вам вчера высказаться, я видела, как сильна у вас потребность облегчить душу, и рада, что вы сумели в себе победить то, что мешало нашей дружбе. Но теперь и дружбы вашей принять не могу. Она была бы ложно истолкована — С. фон Барентин».

Следующая была от 16-го октября:

«Да, я глубоко беспомощна. Но вправе ли я принять вашу помощь? Не знаю, не вижу исхода. Дайте мне подумать до завтра. — С. ф. Б.».

Последняя, от 19-го, была нервно нацарапана карандашом, явно дрожащей рукой:

«Хорошо. Доверяюсь вам. Хочу надеяться, что такое доверие обмануто не будет. Вечером, в условленный вчера у торфяника час, буду на озере».

Из глубокого, тяжелого раздумья меня вывело быстрое движение старика-лакея, выбежавшего из комнаты. Я оглянулся — Клаус сидел, бессильно уронив голову на руки — и подошел к окну. Я выглянул — и оцепенел: во двор въезжал экипаж — и в нем сидел... Кутге!..

Надо было действовать, не теряя ни мгновения.

— Клаус! — заговорил я, подойдя к нему и положив руку ему на плечо. — Тебе понадобится сейчас огромное самообладание. Кутге приехал, сейчас войдет... лакей докладывает ему. Собери все силы, не делай безумия!..

Клаус вскочил и, сжав кулаки, смотрел на меня широко раскрытыми, дикими глазами.

— Постой... Выслушай! Ты бросишься на него... Но все равно, я и его люди — мы ведь не допустим... Значит, вы будете стреляться... Убьешь его, — он унесет в могилу тайну... Будешь сам убит, — кто изобличит преступника и отомстит за нее? С убийцей ты хочешь сводить счеты, как с честным человеком! Не о себе, пойми, а о ней ты должен думать, — не дуэль, а прокуратура должна решить вопрос... Возьми себя в руки!

Лицо его пожелтело, как воск, и холодным, деревянным тоном он проговорил только:

— Ты прав. У меня хватит сил.

Кутге вошел и остановился среди комнаты.

— Я позволил себе принять мою собственность, — хрипло сказал Клаус, указав на письма и пряча их карман. — Угодно вам объяснить?

— Ничего не могу вам объяснить.

Клаус рванулся (револьвер я успел выбросить в окно, едва слышались в коридоре шаги Кутге), я схватил его за руку, крепко сжал ее и твердо посмотрел ему в глаза. Он задрожал всем телом, но сдержался, повернулся к выходу и на пороге крикнул:

— Я заставлю вас арестовать, как убийцу!

.

Мы поехали к прокурору. Только приехав в город и увидя запертые магазины, мы вспомнили, что сегодня воскресенье. Дома прокурора не оказалось, уехал на весь день на охоту. Приходилось отложить до завтра. Клаус метался в отчаянии: а что, если он успеет бежать? а что, если он...

Да, это последнее предполагал и я: самоубийство было бы более к лицу офицеру, чем бегство. Но я не мог не думать, что уж лучше, во всяком случае, чтобы он убил себя, чем Клауса.

Оставить его одного в этот день было невозможно; я остался у него. Вся злоба и ярость, пробудившие было всю его энергию, уступили место взрыву неудержимого горя и раскаяния. Снова и снова, как в первый день, он пе-

ребирал в памяти все прошлое, бегая по комнате, как на смерть раненый зверь в клетке, оплакивая погубленное своими руками счастье, снова остро переживая горе ее утраты и называя себя ее убийцей.

Настало, наконец, утро. Я заставил его выпить кофе перед отъездом, и пока он, стоя, глотал его, обжигаясь, я подошел к окну и загляделся на дивное весеннее утро. Вдруг послышался странный гул голосов, чьи-то испуганные крики, через сад и мимо ограды побежали люди — прислуга, рабочие, бабы-скотницы...

Что могло случиться? Мы быстро направились во двор, на террасе наткнулись на лакея, — он выронил из рук поднос с посудой и побледневшими, трясущимися губами бормотал:

— Барыня... Барыня...

В безотчетном ужасе мы бросились вниз...
Перед нами стояла Сибилла Барентин.

.

В тоске одиночества, с сиротливым сердцем, исстрадавшимся от неудовлетворенной жажды любви и ласки, Сибилла решила, что Клаус не любил и не любит ее, и что она для него только бремя, которое он несет из чувства долга. Полюбивший ее Кутге страдал за нее и боялся, что она может дойти до отчаянного шага. В отчаянии она согласилась на его план:

уехать, скрыться на полгода, — но так, чтобы Клаус считал ее умершей. Если он ее любит и будет тосковать, она вернется через полгода; если же ее смерть только вернет ему свободу, она уедет навсегда в какую-нибудь далекую, чужую страну — и с разбитым сердцем будет доживать под чужим именем одинокую, никому не нужную, безрадостную жизнь.

План был жестокий и ужасный, провести его могло хватить сил, только рабски подчинившись принятому решению, проведя его во всем до мелочей. И Сибилла ждала истечения срока. Но когда, после разговора со мною, Кутге понял, что на него падет подозрение в убийстве, он поехал к ней, и Сибилла решила вернуться за несколько дней до истечения срока.

Судьба сжалилась над Клаусом и Сибиллой: счастье пришло к ним не поздно; должно быть, судьба решила, что они купили его достаточно дорогой ценой.

* * *

В тот же день получилось письмо от Кутге, — прощальное, — задушевное и грустное. Он поручил продать за бесценок свое родовое имение и в тот же день покинул родные края навсегда.

ЧЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ

Я любил бродить по тихому и пустынному Оденвальду, но однажды забрел в такую глушь, что уже почти потерял было надежду добраться засветло до какого-нибудь ночлега. Вдруг послышалось дребезжание тележки, я пошел на звук и вскоре увидел маленького седого человечка в очках, в котором я тотчас угадал деревенского врача. Он сам правил и, когда я спросил его о дороге, предложил подвезти меня.

Дорогой мы разговорились; как здешний старожил, он отлично знал всю местность и население этого фабричного уголка и, усталый от трудов и забот, видимо, рад был поболтать со свежим человеком. К гостинице «Рыжего Быка», куда он меня направил, наш путь лежал мимо большого кожевенного завода, из ворот которого хлынула в тот момент, когда мы проезжали, толпа рабочих — мужчин, женщин и детей. Я оглядел здание с вывеской над воротами «Людвиг Лангхаммер и К°», проводил глазами толпу рабочих и обернулся, залюбовавшись красивым особняком, высившимся рядом с заводом среди обширного сада.

— Здесь мне случилось пережить самое необычайное происшествие во всей моей жизни, — сказал мой спутник, заметив, что я заинтересовался особняком.

Расспрашивать его некогда было, так как мы уже подъезжали к гостинице, и я уж думал, что мне больше не придется и встретить старого чудака; как вдруг часа через два он, покончив с своими визитами, явился поси-

деть в зале гостиницы. Мы снова разговорились, я напомнил ему о таинственном происшествии, о котором он упомянул дорогой, и он, не заставив себя долго просить, вот что рассказал мне:

— Было это добрых десять лет тому назад; я и тогда служил здесь врачом. Раз как-то мартовским вечером, буря была страшная, — сидел я с женой; было часов десять. Вдруг — звонок, да такой неистовый, что проволока вся задрожала. «Ну, — думаю, — случай серьезный, так по пустякам не звонят». Вбегает чья-то прислуга, — растрепанная вся, заплаканная: «Доктор, скорее! Пойдемте скорее!» Осведомляюсь, кто она такая. Оказывается, горничная Лангхаммера, — он был тогда владельцем кожевенного завода, мимо которого мы проезжали. Самого барина, говорит, дома нет, а барыня лежит среди комнаты с простреленной грудью... «Убили... убили...» — только и мог добиться от перепуганной девушки, — так трясутся у нее губы и зубы стучат. Я не хотел дожидаться, пока заложат лошадь, захватил самые необходимые инструменты и побежал пешком; ходьбы минут 12 было.

Прибежал, — входная дверь настежь, подъезд и прихожая ярко освещены, какие-то женщины мечутся — кухарка и экономка, что ли — растерянные, испуганные, оторопелые, как овцы; а в одной из комнат, уже поднятая с пола и расprostертая на диване, молодая и красивая г-жа Лангхаммер, которую я лично знал. Мужчин, как видно, никого не оказалось в доме; женская прислуга расстегнула ей спереди

платье, — в дорожном костюме она была. На груди у нее темнела капелька засохшей крови, а на левом боку, повыше области сердца, я разглядел синее, слегка припухшее пятно с темной точкой посредине, как будто от укуса пчелы, резко выделявшееся на белой коже. Сюда попала пуля. Револьвер лежал еще на ковре; я поднял его, рассмотрел: один заряд был выпущен, пять еще оставалось.

Молодая женщина была, конечно, без сознания, но еще дышала, и я убедился, что ее еще можно спасти. За это, разумеется, и надо было взяться прежде всего. Мы перенесли ее на кровать, я исследовал рану, нашел ее в благоприятном состоянии и тщательно перевязал. Горничную я еще по дороге из дому послал за доктором Вейбецалем (он химик, владелец того другого, меньшего, завода, который вы видели, и родственник Лангхаммера, на сестре его женат) и, в ожидании его, стал расспрашивать, как все произошло.

Кое-как мне удалось узнать от взволнованных баб, отвечавших по двое и по трое зараз, что до ужина ничего особенного не случилось; потом господа встали из-за стола, г. Лангхаммер отправился, как всегда, еще на минутку на завод — взглянуть, аккуратно ли потушены огни, не случилось бы пожара; а через полчаса в саду послышались быстро раз за разом дватри выстрела, кто-то быстро взбежал по лестнице... раздался еще выстрел в верхнем этаже,— а когда прислуга прибежала из кухни, помещавшейся в подвальном этаже, мимо нее промчался сбежавший с лестницы г. Лангхаммер, —

очень расстроенный, с искаженным лицом и, выскочив на подъезд, бросился напрямик по лужайке в лес. Больше его не видели. Наверху дверь оказалась открытой, валялся опрокинутый стул, — а посреди комнаты лежала его жена с пульей в груди...

В револьвере оставалось еще пять зарядов, — в саду стреляли, значит, не из него. Но у Лангхаммера было несколько револьверов: местность тут небезопасная. Было у него еще две больших собаки, которые, несомненно, подняли бы тревогу, если бы в саду был кто-нибудь чужой, а не сам хозяин. Обусловливая все это, я услышал у ворот быстрые, твердые шаги д-ра Вейбецаля. Горничная застала его дома, — он всегда был дома по вечерам, так как был женат всего год и жил очень счастливо с женой; в этот же вечер он сидел за каким то анализом у себя в лаборатории один, так как жена была не совсем здорова и уже улеглась в постель. Он тотчас же бросил работу и прибежал.

Он был высокий, крепкий мужчина лет 30 с небольшим, с умным, энергичным и несколько мрачным лицом.

— Добрый вечер, доктор, — заговорил он, входя и протягивая мне руку. — Вот ужасная история... Меня и прежде что-то беспокоило... Вдруг мимо моего окна галопом проскакала лошадь Лангхаммера с каким-то крестьянским парнем на козлах вместо кучера... А тут вбегает горничная и рассказывает... Но, слава Богу, жизнь ее все же вне опасности?

— Да...

— А шурин мой?..

— Исчез неизвестно куда...
— А где же?.. — он обвел глазами комнату.
— Больше никого мужчин в доме нет. Кучер еще с вечера в город уехал. Я очень доволен, что вы пришли...
— А что же рассказывает Цефле?
— Цефле? Это кто же такой?
— Да бухгалтер... ну, тот молодой человек, что живет в пристройке над конторой.
— Я его не видел. Но, значит, и его нет дома, — иначе он, конечно, прибежал бы на выстрелы.

Вейбецаль выглянул в окно и сказал:

— Однако, у него в комнате огонь!

Я вспомнил, что знал этого Цефле. Тихий он такой и мечтательный юноша, страстный любитель животных и птиц, которых у него множество в комнате, охотник бродить по полям и лесам. Невозможно было и представить себе, чтобы он оказался прикосновенным к этому кровавому деянию — но окно его, действительно, освещено...

— Пойдемте-ка к нему, — сказал я. — Посмотрим, действительно ли он из-за своих зверьков забывает весь мир, — или он от испуга спрятался, или в чем тут дело...

Мы постучались, ответа не было; хотели отворить дверь, — она оказалась на задвижке. А сквозь щелку виднелся свет и доносился плеск воды. Непонятная трусость или безучастие юноши вывели из себя Вейбецаль.

— Отоприте сию минуту, г. Цефле, — или я принесу топор и просто-напросто взломаю дверь...

Бухгалтер, очевидно, знал, что этот человек способен осуществить свою угрозу. После секундного колебания он отодвинул задвижку и мы вошли.

Чашка на умывальном столике была полна воды, слегка окрашенной кровью. Вокруг валялось несколько мокрых носовых платков, тоже запятнанных кровью. На лбу Цефле было повязано в виде компресса полотенце, и сквозь него тоже розовело пятно просачивающейся крови.

— Что это с вами? — спросил я.

— Я поранил лоб...

— Каким образом? Покажите-ка, что там...

— Нет, пожалуйста... не нужно... Я ушибся...

— Я доктор и имею право взглянуть! — твердо и настойчиво сказал я и снял повязку.

Над глазом у него оказалась продолговатая, в палец шириной рана на коже, — несомненный след задевшей кожу пули.

— Кто это сделал? — нервно спросил Вейбецаль. Тот ничего не отвечал.

— Г. Лангхаммер? — Ответа опять не было.

— Как это случилось, что г. Лангхаммер стрелял в свою жену? — Снова молчание.

— И за что он стрелял в вас? Да скажите же что-нибудь, ради самого Бога!

Бледный и робкий юноша покачал головой и, наконец, сдавленным голосом проговорил:

— Не трудитесь спрашивать. Я ни слова не скажу.

— Почему?

— Потому что я дал слово ничего не рассказывать, что бы ни случилось сегодня вечером...

— Кому вы дали слово?

Но от него больше ничего нельзя было добиться. Ослабев от раны, как ни легка она была, дрожа всем телом, он опустился на стул и усталился в пространство почти безумными от страха глазами.

— Всего лучше нам будет отправиться в сад и осмотреть, что там могло произойти, — обратился ко мне Вейбецаль.

Я охотно согласился. Истинным благодеянием было для меня в эту бурную и тревожную ночь присутствие человека с таким завидным самообладанием. Деревенские власти, правда, прибыли вскоре, но какую помощь могли нам оказать бургомистр или писарь? А вызванная по телеграфу из города следственная власть и жандармерия могли прибыть только к утру. В течение же ночи для меня была неоцененна помощь молодого, энергичного и хладнокровного фабриканта.

В саду на щебне виднелось несколько следов ног, шедших к выходу на проезжую дорожку. Тут следы спутывались, калитка была открыта; за ней на дороге виднелись углубления от подков и борозды от колес и тут же лежала мягкая мужская шляпа.

— Эта шляпа мне знакома! — воскликнул Вейбецаль. — Я видел ее давно на Цефле!

Он поднял шляпу и вернулся в сад, оглядывая землю. Тут я впервые заметил в нем волнение, когда он сказал:

— Очевидно, моя невестка, действительно, собиралась уходить и, вернувшись от ворот, обронила вот это...

Он поднял с земли дамский дорожный несессер и положил его на скамью. Больше ничего интересного не оказалось, и мы направились в дом. Луна то и дело скрывалась за пробежавшими тучами, ветер свирепо выл в горах и трепал наше платье. Я плотнее застегнулся, шел и думал, как могла эта женщина состоять в тайных отношениях с бесцветным молодым бухгалтером, — как вдруг мое раздумье было прервано скрипом деревенской телеги.

Крестьянский парень не сидел на козлах, а шел, ведя лошадь под уздцы, держась противоположной от сада стороны, стараясь скрыться за телом лошади и пугливо озираясь. Вейбецаль быстро вернулся на дорогу.

— Это тот самый! — бросил он мне. — Эй, вы, послушайте! Да остановитесь же!.. Чего вы жметесь? Никто ничего вам не сделает!

— Да что ж... а вдруг опять выстрелит... Мне неохота... — пробормотал парень.

— Это вы вечером проскакали по дороге?

— Ну да — я... Диво, что у меня еще кости целы...

— Да что же тут случилось? Расскажите же!

Очевидно, Вейбецаль сумел своим тоном пробудить доверие парня. Собравшись с духом, он рассказал нам, что служит в батраках на ферме в соседнем селе. Между 7 и 8 часами вечера сегодня туда приехал на велосипеде какой-то господин, нанял его и велел ему прие-

хоть к 9 часам на фабрику Лангхаммера. И он, и хозяин его очень удивились, что господин не нашел себе экипажа в более близкой к заводу деревне; да ведь у г. Лангхаммера есть и свои лошади. Но рассудили, что это не их дело, и в назначенный час парень остановился, как было приказано, у сада. Сейчас же показался и господин, приезжавший на велосипеде, про которого видевшие его говорили, что он бухгалтер с кожевенного завода, и остановился у ограды, а вскоре из дома вышла дама под вуалем и с дорожной сумкой в руке, и господин быстро пошел к ней навстречу. Но только что он подошел к калитке, в кустах что-то зашевелилось, как будто кто-то прибежал с завода, и из-за деревьев блеснуло два-три выстрела прямо в бухгалтера. Первые два выстрела пролетели мимо, хотя бухгалтер стоял, как прикованный, а потом, когда он хотел укрыться за телегой, третья пуля попала. Шляпа с него слетела, сам он схватился рукой за лоб и упал наземь, лошадь шарахнулась и поскакала, как сумасшедшая, чуть не переехав упавшего, а он, парень, успел только заметить, что дама бросилась бежать в дом и убийца погнался за ней. И был это г. Лангхаммер... наверное! Как ошибиться, его тут всякий ребенок знает... и светло ведь!

Дав парню несколько монет «за беспокойство», Вейбецаль отпустил его и обратился ко мне:

— Боюсь, что мой шурин где-нибудь там в лесу покончил с собой...

— Очень вероятно... Но скажите... про-

стите, что я вмешиваюсь в семейную драму: ведь она теперь станет достоянием гласности и судебного следствия... Значит, надо допустить, что между вашей невесткой и этим молодым человеком существовали известные отношения?.. Мне кажется это так непостижимым...

— Он безмолвно и благоговейно поклонялся ей, это мы знали и часто шутили над этим в семейном кругу; она тоже. Но с ее стороны, вы правы, ничего не могло быть. Она просто воспользовалась его преданностью, чтобы он помог ее бегству.

— Она хотела бежать? С кем? Или к кому?

— Ни с кем и ни к кому, это же ясно!

— Простите, мне это непонятно...

— Ну, посудите же сами! Вы ведь эти места лучше жения знаете, я ведь тут всего два года. Много ли тут и всего-то интеллигентных людей во всей округе? По пальцам перечесть можно. Из них никто не может быть, не правда ли? Ну, кто же?

— Но ведь ясно, что ваш шурин должен был питать определенные подозрения, иначе он не стал бы палить здорово-живешь...

— Злополучный Цефле с своим немым обожанием давно раздражал его. Ну, а тут он видит, лошади у задней калитки... вспыхив он и горяч безумно, это ведь все знают...

— Нет, простите, меня не удовлетворяет ваше объяснение... Мне кажется, вы о чем-то умалчиваете...

— Вы не ошиблись, — спокойно ответил Вейбецаль. — Есть еще кое-что, известное мне...

и моему шурина, и моей жене... всем нам!

— Чего вы мне, как постороннему, сказать не можете?

— Не считаю себя вправе, пока моя невестка еще жива... и шурин мой... так как это касается их одних. Это они одни могут сказать... и, конечно, скажут, когда окажется надобность.

Пришлось удовлетвориться этим. Я пошел взглянуть на больную. Состояние ее было сносное, но в себя она все еще не приходила. Вернувшись в столовую, я застал Вейбецаля шагающим крупными и мерными шагами взад и вперед по комнате, раздумчиво покручивая свои пышные усы. Едва я вошел, он обратился ко мне.

— Мне бы хотелось теперь сходить домой за женой. У нее сегодня мигрень, она весь день лежала. Лучше мне самому ей сказать, чем чтобы она от чужих узнала о несчастье. Скоро полночь, ее беспокоит, что меня нет.

— Да, это следует сделать. И мне тоже были бы полезны ее помощь и уход.

Он быстрым шагом направился по дороге к своему заводу. Мне видна была из окна его высокая, стройная и изящная фигура. Вдруг он круто остановился. Из-за поворота улицы показалась его жена, закутанная в платок, в сопровождении старика-сторожа. По-видимому, она уже что-то слышала, потому что она испуганно бросилась к нему, он взял ее за обе руки и они взволнованно заговорили, как близкие люди, дружно обсуждающие положение ввиду грозящей опасности. Мне бросилось в глаза, что он был возбужден гораздо больше прежнего.

Он обнял ее за талию и повел ее обратно к дому. Оба вошли в сад, но по лестнице не поднялись. Мне было видно, как они ходили по аллее, горячо и взволнованно разговаривая о семейной тайне и, хотя их некому было подслушивать, говорили, по-видимому, шепотом: он то и дело нагибался к самому ее уху, а она несколько раз молча и возбужденно кивала головой.

Наконец, она вошла в столовую — одна, без мужа — и на самом пороге тревожно спросила:

— Добрый вечер, доктор... Можно мне видеть ее?

Она была немного моложе своего мужа. Не встретив человека, которого могла бы полюбить, она уже почти готова была записаться в старые девы, как вдруг, два года тому назад, по соседству поселился новый владелец химического завода. Девушка, которой было уже под тридцать, с первого знакомства влюбилась в молодого доктора. Я тогда часто бывал в доме (г-жа Лангхаммер прихварывала в ту суровую зиму) и видел, как ее страсть росла буквально с часу на час, словно внешняя вода, и как счастлива она была, когда Вейбецаль в один прекрасный день совершенно неожиданно попросил у ее брата ее руки. Это был настоящий брак по любви, так как значительного приданого она не имела, и очень счастливый брак.

Красивой ее назвать нельзя было, но у нее было живое и милое лицо и глубокий, звучный голос. На этот раз она была очень бледна (неудивительно, после целого дня мигрени, такая ужасная тревога) и едва поплелась за мной

в комнату больной, на цыпочках и затаив дыхание.

Больная, при которой оставалась заплаканная экономка, тревожно металась в жару с закрытыми глазами. Мы молча простояли у ее постели добрых четверть часа, затем вернулись в столовую. На дворе бушевал весенний ветер, доносился вой собак; луна уже зашла, в окна глядела темная, хмурая ночь. Могло быть около половины второго. Я, наконец, заговорил:

— Объясните мне, если можно, что тут произошло?

Она глубоко вздохнула и странным жестом провела рукой по лбу. Я продолжал:

— Куда могла собираться г-жа Лангхаммер в сопровождении бухгалтера?

— На ближайшую железнодорожную станцию, конечно!

— Почему вы говорите «конечно»?

— А зачем же он был бы ей нужен потом? — удивленно проговорила она, видимо, не допуская и мысли, чтобы к Цефле можно было отнестись серьезно. — Отослала бы его и уехала бы.

— Одна?

— Конечно, одна!

Меня это, наконец, разозлило.

— Послушайте, г-жа Вейбецаль... Меня позвали, я буду отвечать перед властями в случае какого-нибудь важного упущения. А вы и ваш муж что-то знаете, что может осветить положение дела — и скрываете от меня. Так нельзя. Старый врач — это ведь духовник в

своем роде! Итак, положи руку на сердце: почему ваша невестка хотела уехать? Разве их семейная жизнь сложилась несчастливо?

— Вы ведь давно знаете моего брата. Он, правда, немного огрубел здесь в глуши. Иногда он бывает, как он сам говорит, мужиковат. И эти вечные охоты, общество простых крестьян, манеры грубеют, конечно. И потом, его ужасная вспыльчивость!.. Но ведь сердце у него, в сущности, очень доброе, это все знают, и с женой он обращается любовно и деликатно, хотя иногда и не совсем хорошо понимает ее. Между нами: она умнее его.

— Значит, в их браке не было ничего особенного — ни хорошего, ни дурного? Но тогда, значит, должен был вторгнуться кто-нибудь третий?..

— Не было никого! — воскликнула она необычно громко и решительно. — В этом-то и весь ужас этой кровавой драмы, что мы ведаемся со сплошными фантазиями, с призраками, которых и нет... То есть, не мы — она...

— Г-жа Лангхаммер?

Она кивнула головой и помолчала с секунду, потом заговорила тоном решимости:

— Придется открыться вам, доктор. Быть может, это даже входит в вашу область... Возможно, что эти душевные страдания моей невестки, эти страхи, преследующие ее уже несколько лет, настоящая болезнь... я сказала бы: душевная болезнь, если бы это не звучало слишком резко и не могло быть истолковано неверно... Все это, конечно, одни фантазии, но для нее они — действительность, и она реально

страдает и мучается от них, а с ней и мы все... давно уже... очень давно...

В мягком голосе ее прозвучали слезы.

— Как странно! — откликнулся я. — Я ведь их домашний врач, давно лечу вашу невестку, — никогда я ничего подобного не заметил...

— Говорю же вам: это одни фантазии, навязчивые идеи... От вас она их скрывает.

— В чем же состоят эти навязчивые идеи?

— Вечное чувство страха... мания преследования... ей все кажется, что против нее что-то такое умышляют... ну, конечно, это просто дико! И моментами приходит в такое иступление страха, что начинает говорить такие вещи... такие...

— Кого она считает преследователем?

— Несуществующего человека, плод ее больного воображения!

— Она определенно представляет его себе? Как?

— Да. Больше я ничего не скажу, доктор. Я даже не решусь повторить все несообразности, которые она говорит. Еще раз только скажу: все это только плод фантазий. Мы ведь проверяли, — и ничего, ничего не оказалось! Теперь вы знаете. Она больна. И давно. Вы до сих пор лечили только ее тело, которое тоже, конечно, страдало от этого; души ее вы не видали. Сохраните же, ради Бога, в тайне все то, что узнали теперь!

— Значит, вы думаете, что г-жа Лангхаммер в припадке острого, беспричинного страха хотела бежать из дома с помощью Цефле?

— Да, я так думаю.

— А вашему брату известно душевное состояние его жены?

— Разумеется! Больше, чем кому-либо!

— И он ничего не предпринимал против этого?

— Что же он мог предпринять?

— Ну... поискать этого неизвестного!

— Где? Знает же и он отлично, что его не найти!

— Значить и он совершенно не верит в его существование?

— Конечно, нет!

— И значит, он не в него стрелял вечером, а имел в виду действительно Цефле?

— Стрелял он в Цефле... в порыве горячности!

Я умолк, а она направилась к двери.

— Я думаю, мне следует теперь сбежать насколько домой, — снова заговорила она. — Я распорядюсь всем необходимым, уложу кой-какие вещи и переселюсь сюда совсем, чтобы ходить за невесткой. Часа через два я вернусь. Вам это не неудобно?

Я изъявил согласие, и она ушла. Прислушавшись (разглядеть уже ничего нельзя было), я расслышал, что она внизу лестницы встрети-лась с мужем, и сквозь порывы ветра различал звук их удаляющихся шагов и голосов.

Вдруг кто-то сзади коснулся моего плеча. Экономка просила меня к больной: она стала очень беспокойна, все порывается встать и уйти.

Я поспешил к постели молодой женщины. Она вся горела, бредила, бормоча какие-то не-

связные слова, и металась так, что мне пришлось бережно, но насильно удерживать ее. Полежав несколько секунд спокойно, она вдруг снова заметалась и хотела вскочить. Я тихо взял ее за руку, сказал несколько успокоительных слов, но она отчетливо прошептала:

— Пустите меня... к дубу... к дубу...

По соседству с Оденвальдом есть превосходные дубовые леса, у нас же на отлогих горах крупные и стройные дубы — большая редкость.

Вблизи, в пяти минутах ходьбы от завода Лангхаммера, у нас есть один-единственный красавец-исполин, насчитывающей несколько сот лет; его у нас и называют «вековым дубом». Несомненно, она именно его имела в виду. Но что у нее могло быть связано с ним, что требовало ее и в бреду?

Я не успел предаться раздумью, — деревенские власти явились для составления протокола. Был призван бухгалтер для допроса, и он явился бледный, словно с креста снятый, но с улыбкой на губах, гордый невольным положением героя, в которое попал из любви к несчастной молодой женщине.

Это замыкало ему уста. По-прежнему он отказывался от всяких показаний, но и не спорил, когда я передал ему показание крестьянского парня (по-видимому, все это была правда) и нам пришлось отпустить его, не узнав от него ничего.

Вскоре примчался на велосипеде, несмотря на темную ночь, молодой врач, коллега из соседнего городка, за которым я послал еще в

начале вечера, чтобы на случай, если мне придется уехать к другому больному, в доме оставался сведущий человек до приезда знаменитости из Гейдельберга. Молодой коллега сменил меня при больной; бургомистр удалился, заявив, что жандармерия может прибыть только через несколько часов — и в доме воцарилась полная тишина.

Мало-помалу за окнами черный мрак посерел, небо прояснилось, рассвело, — и я открыл окно, чтобы подышать свежим, холодным утренним воздухом. Глаза мои невольно остановились на вековом дубе на опушке леса между обоими заводами. Супруги Вейбецаль еще не возвращались. Я подумал, что после треволнений этой ночи небольшая прогулка очень освежила бы меня, а делать мне здесь пока нечего. Я коротко сообщил коллеге, что ухожу ненадолго, взял шляпу и пошел по тропинке между росистых полей и лугов.

Накануне весь день до сумерек шел дождь. На глинистой земле отпечаталось множество следов крестьянских сапог, коровьих копыт, борозд от колес. Я предпочел пойти по траве и через несколько минут очутился перед вековым дубом. Он стоял шагах в двадцати в стороне от дороги; к нему вела узкая тропинка, а вокруг ствола великана была устроена круглая скамья. По обе стороны тропинки уже чуть зеленела молодая озимь. Делать здесь нечего было, а в эту пору ранней весны сюда мог забрести воскресным днем случайный любитель природы или еще какая-нибудь влюбленная парочка. В этот же день была пятница, — и все же на влаж-

ной земле были видны свежие следы изящной, маленькой дамской ботинки, шедшие от дороги к дубу и обратно. А под самым деревом у скамьи виделось много отпечатков другой пары сапог, владелец которых пришел, должно быть, с другой стороны — с лугов или из лесу: они так переплетались вокруг скамьи, что надо было предположить, что человек в разговоре с дамой все время ходил вокруг дуба. Это были необычайно отчетливые отпечатки изящных мужских ботинок с длинными и узкими носками — такого фасова, что они никак не могли быть работы нашего деревенского сапожника или двух-трех мастерских соседнего городка; а мы все, местная интеллигенция, заказываем себе обувь только у них: мы все отлично знали друг друга, к чему нам всякие модные затеи?

Г-жа Вейбецаль уверяет, что ее невестка боится призрака, тени, созданной ее больным воображением, но этот призрак оставил здесь следы своего физического присутствия, эта тень явилась из лесу и снова удалилась туда, — это отчетливо видно было по притоптанной траве. Он живой, значит, этот призрак, он был здесь, говорил с молодой женщиной. Что тут были следы ее ног, — в этом не могло быть сомнения, чьи только эти другие следы?

У меня была веревочка в кармане; я нагнулся и измерил ею длину и ширину ступни и диаметр каблука, отметив все это узелками. Затем я в раздумьи пошел обратно и сделал еще одно заключение: встреча должна была произойти ночью или в густые сумерки. Тропинка,

шедшая от дуба, имела в одном месте, у самой нивы, извилину, а следы ног г-жи Лангхаммер шли напрямик по молодым всходам и только через несколько шагов снова сворачивали на тропинку: очевидно, она впотьмах не различила извилины и, только почувствовав траву под ногами, снова свернула.

Вырисовывалась, таким образом, следующая картина: между 6-ю часами вечера, когда у нас уже темно, и 9-ю, когда она пыталась бежать, у нее было здесь свидание с кем-то, существование которого оспаривается ее родными. Быть может, она уславливалась с ним об отъезде? Быть может, он ждал ее на условленном месте? Если так, — это должен быть кто-нибудь нездешний, никому из нас не известный, потому что всю нашу местную интеллигенцию я видел вечером по дороге к Лангхаммерам за обычной кружкой пива в излюбленном кабачке, самого Вейбецаля в рабочей куртке у себя в лаборатории; гостивший у него приятель уехал несколько дней тому назад; владелец кирпичного завода на расстоянии четверти часа пути от нас был старик, почти паралитик, — словом, перебрав всех, я должен был остановиться все-таки на бухгалтере Цефле.

Вернувшись, я зашел к нему в комнату над конторой. На мой стук он тотчас же отпер мне, совершенно одетый, несмотря на ранний час, чтобы быть готовым к допросу, когда придут следственные власти. Меняя ему перевязку, я посмотрел на его ботинки: неуклюжие обрубки из толстой кожи с широкими носками — совершенная противоположность изящным сле-

дам под дубом. Итак, это был не Цефле.

Сам же он продолжал улыбаться с видом мученика и молчал. Теряя всякое терпение, я схватил его за плечо и сказал сквозь зубы:

— Да скажите же что-нибудь, наконец! Выкладывайте все, что знаете о г-же Лангхаммер и о том, третьем!

— Я не знаю никакого третьего! — воскликнул он, выпрямившись и окинув меня таким гордым взглядом, что почти пристыдил меня. — Я слишком искренне и глубоко уважаю г-жу Лангхаммер, чтобы позволить себе подобное дерзкое предположение!

— Вы, значит, никогда ничего такого не заметили?

— Никогда!

— А вчера вечером?

— О вчерашнем вечере я не могу говорить. Одно скажу вам: если бы я и хотел говорить, вы от меня ничего не узнали бы, кроме того, что уже знаете. Я знаю не больше вас.

У меня не было оснований сомневаться в правдивости его слов. Я в раздумьи направился к двери, но тотчас же обернулся, услышав за спиной странный шум и возню: Цефле собирался забиться под кровать.

— С ума вы сошли? — воскликнул я.

Следа не осталось от геройства бухгалтера, — снизу донесся жалобный, сдавленный страхом голос:

— Пусть он меня не трогает!.. Скажите ему, чтобы он больше не стрелял в меня! Скажите ему, что я ни в чем не виновен, ничего не знаю...

- Да что с вами? Что случилось?
- Он идет... Боже мой... Боже мой... Он идет!
- Кто он? Кто идет?
- Посмотрите в окно...

Я выглянул и увидел Лангхаммера...

Красивым мужчиной он никогда не был: лет сорока, коренастый, широкоплечий, с всклокоченной бородой, с простонародными манерами и речью, — он производил впечатление мужика, несмотря на свое университетское образование; особенно — когда отправлялся на свою любимую охоту с трубкой в зубах и с ружьем за плечами. Но теперь он был похож на затравленного зверя. Без шляпы, волосы спутаны на лбу, мертвенно-бледное лицо, стеклянный взгляд покрасневших глаз, полуоткрытый, с выражением ужаса рот, мокрое платье с приставшими комьями земли и еловыми иглами, сапоги по колено в грязи от непрерывного блуждания в течение целой ночи... Он был, положительно, страшен, двигаясь медленным, тяжелым шатающимся шагом.

Я вышел навстречу. Он остановился, узнал меня и хрипло проговорил:

— Жандармерия явилась уже?

— Нет еще. Вы хотите подвергнуться допросу?

— Надо же, раз убил человека.

— Значит, это вы стреляли в вашу жену?

Он сделал быстрый протестующий жест.

— Я? Нет! Она сама... Когда уже вбежала в комнату, а я еще бежал за ней по лестнице. Она знала, в каком ящике лежал мой второй револьвер. Когда я вошел, она уже лежала на

полу. Если бы она еще могла говорить, она подтвердила бы это!

— Она скажет! Она жива и выздоровеет!

Он тяжело перевел дух. Странное выражение промелькнуло по его измученному лицу. Никто в мире не разгадал бы, какое именно чувство вызвала в нем эта весть. Затем глаза его мрачно вспыхнули и он сказал:

— Ну и отлично! Довольно и того, что я с ним рассчитался!

— Он тоже жив!

— Эти сказки вы кому-нибудь другому рассказываете, а не старому охотнику! — воскликнул он, хрипло засмеявшись. — Его-то я угостил! Хоть и темно было, а я видел, как слетела его шляпа и как он упал!

— Пуля задела только кожу на лбу.

Он сжал кулаки и заскрежетал зубами. Широкая грудь его вздымалась от злобы разочарования. Он что-то глухо пробормотал.

— Неужели вам нисколько не жаль, г. Лангхаммер?

— Что я так промахнулся? Очень жаль!

Я посмотрел на него. Неужели эта слепая ярость направлена на бедного белокурого Цефле?!

— Ну, скажите сами: этот безобидный молодой человек...

— О ком это вы?

— ...который мухи обидеть неспособен и, вдобавок, целые годы ест вашу хлеб-соль...

Лангхаммер дико схватил меня за плечо.

— О ком вы говорите?

— В кого же вы стреляли вчера, по-ваше-

му?

Я видел, имя готово было сорваться с его языка, — и тут только меня осенило: неправда, что семья не знала, кто он! Отлично знала, только говорить никому не хотела! Я затаил дыхание: сейчас выяснится тайна! но, вместо этого, Лангхаммер указал рукой на дверь конторы и глухо проговорил:

— Это был вот этот?

Мне ничего другого не оставалось, как ответить:

— Да. Вы стреляли в г. Цефле.

На пороге показался бухгалтер с белой повязкой на лбу, оцепелелый от ужаса. Ему показалось не вполне безопасно в засаде под кроватью и, когда наши голоса на секунду затихли, он думал, что мы ушли с лестницы, решил убежать в поле, но попал прямо в пасть врага. А тот обратился к нему:

— Это вы стояли рядом с кучером у повозки?

— Да, г. Лангхаммер!

— И упали, когда я выстрелил?

— Да, г. Лангхаммер!

— А кто еще там был?

— Никого больше не было, г. Лангхаммер!

— Вы отлично знаете, о ком я говорю!

— Нет, г. Лангхаммер!

— А кто же вас подбил на все это?

— Ваша супруга, г. Лангхаммер!.. Больше никто... Никто больше, — клянусь всем, что для меня свято!.. Я делал только то, что она мне приказывала!

Лицо Лангхаммера покрылось мертвенно-

серой бледностью. Он забормотал, как в беспамятстве, устремив в пространство безумный взгляд:

— Простите, Цефле... Не подавайте жалобы... Вы не будете в убытке.. Я вознагражу вас, Цефле... Вы будете служить у меня пожизненно...

И вдруг грохнулся наземь и застонал.

— Так это неправда... все же неправда! Его не существует!.. И из-за призрака я стреляю в этого... она стреляется... столько горя!..

Снова загадка! Я нагнулся к нему и, видя, что Цефле робко шмыгнул в дом, спросил:

— О ком же вы говорите?

— Ни о ком! — оборвал он, глубоко вздохнул и поднялся, совершенно разбитый.

— Могу я видеть жену мою?

Я проводил его в комнату больной. Она лежала с закрытыми глазами в сильном жару. Лангхаммер не выдержал. Грубоватое, но добродушное лицо его скорбно дрогнуло, и он зарыдал страстно, отчаянно. Я не мешал ему, не пытался утешать его. Я понимал, что это необходимая реакция после всех внешних и внутренних потрясений, пережитых за ночь этим сильным человеком.

Действительно, через несколько минут он успокоился немного, сдержал рыдания и только, глядя на жену со сложенными руками, бормотал в глубоком волнении:

— Бедная моя, бедная!

Больная беспокойно повернулась. Я не хотел, чтобы она увидела его и испугалась, если придет в сознание, и поспешил увести его. Он

беспрекословно вышел и за дверью остановился.

— И все это из-за недоразумения! — глухо проговорил он. — Я пойду теперь и наскоро приведу в порядок самые необходимые дела, раньше чем явится жандармерия и арестует меня.

— За что же вас арестуют? — возразил я. — Если ваша жена действительно сама на себя руки наложила, то вы за это не ответственны. А что вы ночью, при таком стечении обстоятельств, стреляли в незнакомца, который оказался вашим бухгалтером... ну, Цефле жаловаться не станет, и перед законом вы, во всяком случае, останетесь чисты.

Мы вошли в его кабинет, он сел за письменный стол и начал разбирать бумаги.

— Это возможно, конечно, — спокойно сказал он. — Но также возможно и то, что мне не поверят, пока жена сама не будет в состоянии засвидетельствовать это. Во всяком случае, я хочу приготовить к аресту и передать в другие руки свои дела. Завод нельзя же остановить и оставить рабочих без заработка. Будьте добры, любезный доктор, сходите к моему зятю, — сам я, право, не в состоянии, — и попросите его прийти ко мне как только возможно скорее.

Я все время удивлялся, что Вейбецали не являются. Они хотели вернуться часа через два, а прошло уже вдвое, даже втрое больше времени. Я тотчас же отправился и через несколько минут очутился перед небольшим химическим заводом, покоившимся еще ночным сном на берегу журчащего ручья. Дверь по-

дъезда пристройки-особняка, в котором жили супруги, была отперта; в прихожей сидел за-спанный молодой парень, кончавший чистку обуви. Ярко блестели выстроенные в ряд две-три пары дамских ботинок; за ними тяжелые мужские сапоги, какие нужны, когда приходит-ся целый день возиться во дворе по грязи, на-блюдая за работами и за нагрузкой и разгруз-кой товара; еще дальше — изящная мужская ботинка с правой ноги; парную, сильно пере-пачканную глинистой землей, малый держал еще в руках. Она была из тонкой кожи, узкая, с длинным и острым носком, — такая, какие но-сят в городах, но в Оденвальде и найти нельзя.

Меня вдруг всего пронизало подозрение.

Я взял ботинку из рук малого, положил ее на подоконник и начал измерять ее вынутой из кармана веревочкой.

Все размеры — длина, ширина, диаметр каблука — до последнего миллиметра совпа-дали с моими мерками, снятыми со следов на земле и отмеченными узелками...

В первую секунду я сам был так испуган собственным открытием, что замер на месте, уронив руки и тупо уставившись в простран-ство. Парень что-то сказал мне, я ничего не по-нял; все плясало у меня в голове и перед гла-зами. Когда я усилием воли овладел собой, я услышал чей-то голос с верхнего этажа:

— Кто же там?

Это была г-жа Вейбецаль. Она перегнулась через перила лестницы и смотрела на меня. В звуке ее голоса и в выражении лица была не-обычайная тревога. Мне показалось, что она

была теперь еще бледнее, чем ночью.

— Ах, это вы!.. — принужденно проговорила она. — Пожалуйте же сюда, наверх!

Я взошел и поспешил сказать самое важное:

— Брат ваш жив! Около часа тому назад он вернулся из лесу!

К моему изумлению, эта весть не произвела на нее никакого впечатления.

— Да, я знаю, — сказала она только, кивнув головой.

— Каким образом?

— Он проходил мимо нас. Я видела его из окна.

— И вы не поспешили вслед за ним?

— Я не могла. Я переодевалась в ту минуту.

— А ваш муж?

Она промолчала.

— И потом, почему же вы не пришли снова, как обещали? Вы ведь так необходимы нам!

Не успел сойти с ее языка какой-то нерешительный ответ, как вошел ее муж, спокойный, как всегда, и со свойственным ему невозмутимым выражением лица. Меня охватил при взгляде на него невольный жуткий испуг. Так это он! Вокруг него сплелась вся тайна, а сам он ничем не выдает себя. Меня буквально жгла жалкая веревочка в кармане с тремя узелками. Она казалась мне в эту минуту петлей, брошенной на его шею и медленно затягивающейся.

— Нельзя же так, г. Вейбецаль, вы ведь там нужны! — сказал я. — Вам надо пойти к ваше-

му шурина. Вы нужны ему, и он послал меня попросить вас. Человек в его положении имеет же право на это!

Доктор Вейбецаль кивнул головой и проговорил странно равнодушным тоном:

— Разумеется... Я сейчас иду.

Он взял шляпу и направился к двери. Я пошел за ним, но в тот же миг жена его забежала вперед, стала на порог, вытянув обе руки, и со страшным испугом воскликнула:

— Нет, нет!.. Ты не пойдешь!..

Он остановился, нахмурил брови и окинул ее сердитым и неприязненным взглядом.

— Отчего ему не пойти? — быстро спросил я.

Она крикнула, не помня себя:

— Он на смерть идет! Мой брат убьет его!

На мгновенье воцарилось молчание. Я был так ошеломлен, что ничего не мог сказать. Потом Вейбецаль проговорил отрывисто и решительно:

— Пусти меня! — и сделал шаг к выходу.

Но она не дала ему пройти, загородила спиной дверь и прохрипела:

— О нет, нет, не ходи!.. Он еще вчера вечером думал, что это ты!.. Он застрелил ее, теперь он тебя застрелит... А ведь все это неправда!

И, задыхаясь от волнения, дрожа всем телом, она обратилась ко мне. Я не узнавал этой обычно спокойной и ровной женщины, она словно обезумела от ужаса.

— Ведь он свято поклялся мне, что это неправда, что это одно ее болезненное измышление... он честным словом уверил и меня, и брата... я

ведь верю ему!... я ведь верю ему!...

Какое непоколебимое доверие звучало в ее словах! Какой пламенной, фанатической верой и беззаветной любовью горели ее глаза!

В порыве безумной ревности она подозрительно оглядывала меня, испуганная тем, что я хотел его увести, подвергнуть его опасности.

— Да скажите же, ради Бога, что именно вообразила себе ваша невестка, что может быть причиной всего этого горя и несчастий?

С нерешительным видом она вопросительно взглянула на мужа. Но он только плечами повел, как будто хотел сказать: «Говори, что ж! теперь уж все равно!» Тогда она с жестким и язвительным смехом начала:

— С тех пор, как мы поженились, моя невестка воображает, что мой муж влюблен в нее... Нет, больше даже... это началось еще до нашей свадьбы... мне даже произнести это трудно... она не постеснялась заподозрить его, что он и женился на мне только для того, чтобы быть ближе к ней! С этим ужасным разоблачением она явилась ко мне, когда я еще невестой была, и заклинала меня отказать ему... Она в отчаяние пришла, когда я только засмеялась в ответ и, возмущенная, заявила ей, что верю в него, как в святое евангелие. Тогда она вздумала открывать глаза моему брату. Он тоже поговорил с ним и мой муж и его успокоил своим честным словом. И за все время с тех пор она не могла представить ни тени доказательства своих чудовищных утверждений, ни одной строчки, ни одного свидетеля! и все же упорно стоит на своем...

— И теперь еще, после того, как вы поженились?

— Все время, до сих пор! Моментами ее нервная болезнь (ничем иным этого объяснить нельзя) становится слабее, и тогда мы обретаем кой-какой покой и можем вздохнуть; но затем болезнь снова усиливается, она начинает молить мужа защитить ее (ко мне она больше не решалась обращаться), а когда он спрашивал, от чего она ищет защиты, ей нечего бывало ответить. Дело вечно сводилось к одной и той же клеветнической выдумке, что он ее преследует, хотя никогда не сказал и не написал ни слова, пламенными взглядами, безмолвно и неотступно искушая ее, как злой гений. А я убеждена, что тут дело совсем в другом... что именно она безнадежно любит его и, из мстительного чувства к нему и злобного к нам, старается всех нас повергнуть в несчастье... И, видит Бог, это ей удалось...

— Разве в последнее время случилось что-нибудь особенное?

— В том то и дело. Мы и так уже отделились, насколько возможно... Мы очень редко начали бывать у них, особенно муж мой: он совсем только изредка заглядывал, и то только для того, чтобы людям не бросился в глаза разрыв. Несмотря на это, она третьего дня снова пристала в страшном возбуждении к брату, требуя, чтобы он совсем порвал с нами, а мужу моему прямо запретил показываться у них в доме; иначе кончится катастрофой!.. Это рассердило моего брата, он заявил ей, что не считает возможным порывать с единственными в

мире, кроме нее, близкими людьми, и особенно с сестрой, которую любит 30 лет и которую родители, умирая, поручили ему. Главное, из-за чего-то непонятного, неуловимого, по ее собственным словам! Чем можно было бы оправдать такой шаг? А он и материально повредил бы ему, так как, в случае разрыва, ему пришлось бы выделить из дела и отдать мне мое маленькое приданое, которым он теперь пользуется, выплачивая мне только проценты. Так он ответил ей, но свое влияние ее слова все же, по-видимому, оказали. Когда он увидел ее вечером у повозки и рядом с ней мужскую фигуру, он подумал, что это мой муж, что он собирается увезти ее, и выстрелил в него... А мой муж весь вечер провел в лаборатории, сколько людей видели его!.. И если он теперь пойдет туда, он его застрелит!..

Пока она истерически выкрикивала это в смертельной тревоге за мужа, он стоял, наружно совершенно спокойный, как будто выжидая только, чтобы она немного овладела собой, дабы он мог ее урезонить и отправиться со мной к Лангхаммерам.

Дождавшись паузы, он обратился к ней:

— Успокойся, дитя мое, подумай хладнокровно. Брат твой стрелял вчера впоотьмах просто сгоряча, ни о чем и ни о ком не подумав. Но предположим даже, что в ту минуту он имел в виду меня. Все же теперь белый день, рассудок вступил в свои права, я ведь могу еще доказать, что в критический момент я спокойно сидел у себя в лаборатории. Должен же он будет понять, да уже и понял, наверное, что он

на мгновение подпал под влияние злополучной мании преследования своей бедной жены? Он, наверное, уже теперь сожалеет об этом. Не правда ли, доктор?

Одна-единственная мысль овладела моим умом: «Вот момент для выяснения истины! теперь или никогда; я или никто...» И я ответил:

— Совершенная правда. Именно таково состоящие г. Лангхаммера. Он совсем разбит. Не думаю, чтобы в душе его сохранилось хоть малейшее подозрение в отношении вас. Но если бы это и было так, тем более ваш долг постараться рассеять его!

Вейбецаль сделал нервный жест досады:

— Да что же мне для этого сделать? Я могу только еще раз уверить его в том, в чем уже десятки раз уверял: что я ничего не добиваюсь от его жены, никогда не искал сближения с ней, никогда не писал ей, ни разу не говорил с ней наедине...

— Никогда?

— Никогда! Ни разу!

— А зачем же вы вчера вечером встретились с ней?

— Я?

— Да, вы!

Он еще вполне владел собой.

— Где же это было?

— Вы знаете. Под вековым дубом.

Он пожал плечами.

— Может быть, там и был кто-нибудь, Бог его знает кто, во всяком случае — не я.

— Вы прошли от лесной опушки лугами, г-жа Лангхаммер пришла с завода по узенькой

тропинке к дереву. Вокруг него вы долго гуляли вместе, возбужденно разговаривая...

Вейбецаль заметно побледнел, но лицо его еще сохраняло холодное, равнодушное выражение, когда он спросил:

— В самом деле? Когда же это было?

— С наступлением сумерек.

Он решил, очевидно, поставить мне ловушку.

— Значит, было уже темно? В таком случае, разведчиком вашим была кошка, раз он так хорошо разглядел в темноте и издали меня или кого-то другого.

— Нет. Он хорошо расслышал вблизи, г. Вейбецаль... Именно под покровом темноты можно было подойти так близко, чтобы не пропустить ни одного слова...

Я затеял рискованную игру, но он попался на удочку. Он вдруг подошел ко мне так близко, что мне показалось, он хочет оскорбить меня, и пробормотал сквозь зубы:

— Вы хотите сказать, что слышали разговор?

— Да. От слова до слова! — выпалил я храбро.

По лицу его, побледневшему до синевы, медленно поползла невыразимо горькая и тоскливая улыбка, а я продолжал:

— Г-жа Лангхаммер хотела иметь свидетеля того, что она сама нам расскажет, когда будет в силах говорить. Она жива и через несколько дней поправится...

Он вздрогнул всем телом и был похож на выходца из могилы. Жена его молчала до сих

пор, оцепенелая от ужаса. В эту минуту она бросилась к нему, схватила его за плечи и хрипло, едва дыша, проговорила, чуть не касаясь лицом его лица:

— Не помешалась ли я?.. Или вы с ума сошли?.. Что все это значит?.. Да говорите же, ради Бога... ради Бога! Скажи же что-нибудь!

И он тихо, медленно сказал:

— Да. Я был сумасшедший. Все время. Все время, с той минуты, как увидел твою невестку. Все, что было нам дорого, свято, я поправил ногами — ради нее!.. Я не прошу тебя о прощении. Ты не можешь меня простить. Верь мне только: я был бессилен перед этим! Это была страсть, для которой нет имени. Я не сумел побороть ее...

Г-жа Вейбецаль все еще не могла ни поверить, ни одуматься. Она прошептала:

— И то, что она говорила... правда?

— Да.

— Все?

— Да.

Она без чувств грохнулась на пол.

В ту же минуту я увидел через окно входящего Лангхаммера. Он шел, согнувшись, тяжело и медленно переступая. Ветер трепал его нечесаную спутанную бороду.

По-видимому, у него не хватило терпения ждать, и он пришел сам, чтобы передать своему зятю и доверенному наличные деньги, торговые книги и деловые письма своей конторы.

Но разглядывать его мне некогда было, — надо было заняться лежавшей в обмороке сестрой его... И пока я, стоя на коленях перед

ней, старался привести ее в чувство, — передо мной развертывалась картина всей драмы, как это и подтвердилось впоследствии.

У молодой женщины не хватило дольше сил выносить пожирающее пламя близости своего родственника. Одинокая, предоставленная самой себе, не встречая поддержки со стороны маловнимательного мужа, осмеиваемая в своей тревоге, — она чувствовала, что подпадает мало-помалу под власть этой безмолвной, но беспощадной страсти, что борьба ей становится все больше и больше не по силам и Вейбецаль все больше покоряет ее себе. И она решила бежать, — к своим родителям. Туда он не мог последовать за ней, не возбуждая подозрения.

И вот, приготовившись с помощью Цефле к побегу, она решила сделать еще последнюю попытку образумить его, убедить его оставить ее в покое, — и, встретив его у векового дуба, согласилась на объяснение, — первое и единственное объяснение наедине.

Но в ответ на все мольбы и убеждения, она услышала только, что он бессилен перед своей страстью, что он живет ею одной, из-за нее стал изменником и клятвопреступником перед женой, бесчестным лжецом перед ее мужем.

В смертельном страхе за силу собственной решимости — не поддаваться преступной страсти, бежать — она бросилась к Цефле, приготовившему лошадь, — и когда муж, слепой безумец, своими выстрелами заставил ее вернуться, как бы насильно толкая ее в объятия Вейбецала, — она в отчаянии и душевной муке не

нашла иного исхода, как наложить на себя руки.

Дверь отворилась. Лангхаммер вошел и, увидя свою сестру на полу, глухо спросил:

— Что случилось?

Я оглянулся, ища глазами Вейбецаля, — его не оказалось в комнате; я подумал, что он прошел в смежную маленькую гостиную, чтобы оправиться, овладеть собой.

Как это случилось, — не знаю до сих пор.

Быть может, из-за глухого шума тяжелых шагов Лангхаммера на лестнице, — но мы не слышали звука выстрела. А когда мы заглянули в гостиную, то увидели его в уголке дивана с поникшей на грудь головой и с бессильно опущенной вдоль тела рукой. На полу еще дымился маленький револьвер. Он выстрелил себе в висок и метко попал. Смерть наступила мгновенно...

* * *

Старый деревенский врач умолк и, раздумчиво устремив глаза в пространство, неторопливо допил свою кружку.

— А что случилось с семьей Лангхаммер? — спросил я через несколько минут.

— Вы не заметили, когда мы проезжали, у ворот завода стоял пожилой человек? Это был он. У него уже седая борода, стареть начинает. Но как он переродился с тех пор! Он понял, как тяжело он был виноват перед женой и своей небрежностью, и своим недоверием. А эта жен-

щина заслуживает больше доверия, чем кто-либо в мире... Теперь он ее носит на руках, — насколько это возможно для его огромных неуклюжих лап.

Она все это перестрадала кое-как с течением времени... Дети подрастают... Теперь они живут очень счастливо.

— А г-жа Вейбецаль?

— Не заметили ли вы проездом маленькие нарядные домики для рабочих при химическом заводе? — спросил он.

— Заметил, конечно! Они меня поразили...

— Побродите-ка завтра перед отъездом по нашему селу, — посмотрите на детский сад, на общественную больницу и на дом призрения... на площадку для игр при школе... Все это она соорудила на свои собственные средства и еще многое другое... Человек страшно много может перенести. Не думал я этого тогда. Но она справилась, выжила, сохранила рассудок и здоровье. Только замуж больше не вышла. Живет тихо, замкнуто, вся для других — и так проживет, вероятно, всю жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

Р. Штратц (1864-1936) – немецкий писатель, драматург, критик. Родился в семье богатого купца из Одессы, чьи предки перебрались в Россию при Екатерине II. Детство и юность провел в Гейдельберге с матерью, желавшей воспитать детей в немецком духе. Учился в университетах Лейпцига, Берлина, Гейдельберга и Геттингена, специализируясь на исторических дисциплинах. В 1883-1886 гг. служил в армии; в 1867 побывал вместе со своим братом Карлом (ставшим позднее известным гинекологом) в Экваториальной Африке. В 1891-1893 гг. был театральным критиком газ. *Neue Preussische Zeitung*. Во время Первой мировой войны служил в военной пресс-службе при генштабе, занимался военной пропагандой. Среди произведений Штратца – пьесы, психологические рассказы, бытовые, исторические и патриотические романы, шпионские детективы, мистические новеллы, исторические драмы и т.д.; некоторые из них пользовались значительным успехом и издавались огромными тиражами. Как беллетрист, Штратц считался мастером психологического анализа и изображений природы. Несколько его романов были экранизированы; среди этих экранизаций следует отметить «Замок Фогелед» Ф. В. Мурнау (1921).

Второе зрение

Публикуется по изд.: Штратц Р. Черные крылья. СПб., тип. т-ва «Труд», [1902].

Перевод рассказа также печатался под загл. «Дар прозрения», «Роковой дар».

Ужас

Публикуется по изд.: Святочные рассказы. СПб., изд. т-ва «Хронос», 1912.

Смерть Сибиллы Барентин

Публикуется по изд.: Штратц Рудольф. Смерть Сибиллы Барентин. СПб., изд. т-ва «Хронос», 1913.

Черные крылья

Публикуется по изд.: Штратц Р. Черные крылья. СПб., тип. т-ва «Труд», [1902].

Все включенные в книгу произведения публикуются с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Для удобства чтения слова, набранные в оригинале разрядкой, даны курсивом.

Александр Степанов

Оглавление

Второе зрение	5
Ужас	21
Смерть Сибиллы Барентин	34
Черные крылья	53
П р и м е ч а н и я	92

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.